

0-38

№ 3 1980

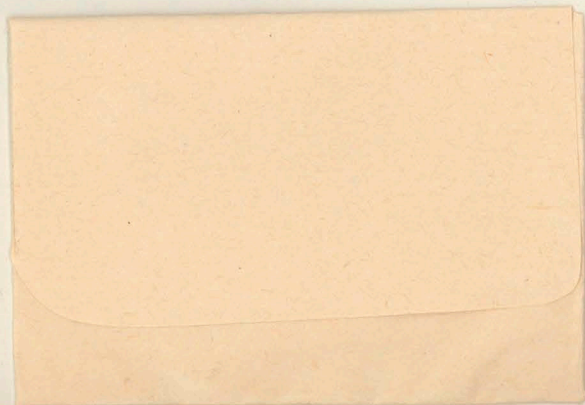
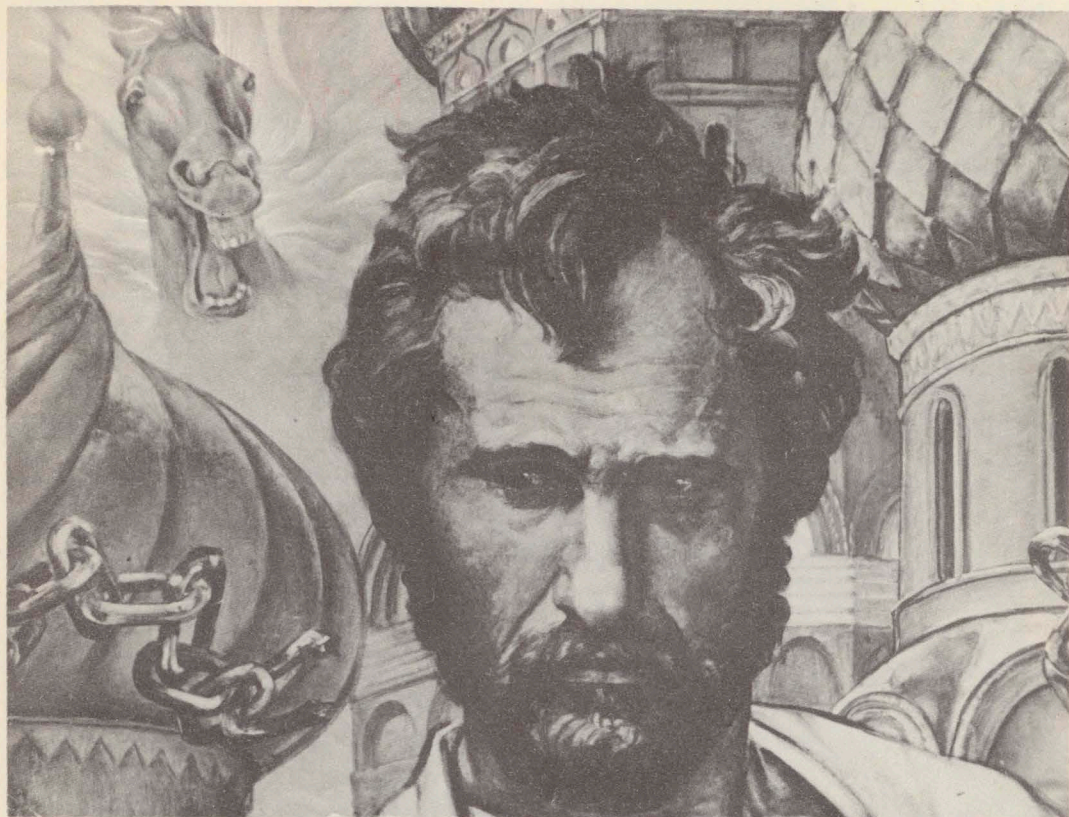
июль—сентябрь

ОГНИ
КУЗЬАССА



487241

4



ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 32-й

№ 3(68)

В Н О М Е Р Е

СТИХИ

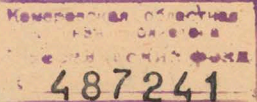
- Николай Колмогоров. «Я не знаю судьбы на-
перед...», «Хрустальной палицей мороза...», «Начинают
жить оттаявшие крыши...», «Слышу дни, когда дом на-
полнялся...» 12
- Александр Ибрагимов. Есть у влюбленных свой
язык: «Возможна ли еще любовь...», «Целомудренны го-
лые рощи...», «Любимая, как дни простоволосы...», «Не
прикоснусь я глазами к любимой...» 34
- Александр Родионов. Сосед 44
- Михаил Небогатов. Из цикла стихов о творчест-
ве: «...На самой задушевной ноте», «Очень трудный жре-
бий у поэта...», «Привыкаем за жизнь ко всему...», «Го-
ворю себе: время не трать...», «Не любому доступны
вершины...», «Гении непризнанные... Жаль их...», «Если
чувства запустить...», «Жизнь у всех по-разному по-
ется...» 56

ПРОЗА

- Людмила Филаткина. Ночная смена. Рассказ 3



390448



A

Екатерина Дубро. Облачно, с прояснениями. <i>Рассказ</i>	14
Юрий Моренис. Сказки города: Вступительный аккорд. Воспоминание о понедельнике, или сказка о мамонте. Сказка о танке. Ночь (Сказка, похожая на открытое окно). Сказка о песне	36

АНТОЛОГИЯ КОРОТКОГО РАССКАЗА

Гарий Немченко. Иней на стекле	46
Александр Лапшин. В пути	48
Анатолий Бобриков. Огненный змей	49

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Валерий Сибикин. Ученый червяк. Ай да строн- тель! <i>Новеллы</i>	58
Николай Карев. Лесной трофей. <i>Фоторассказ</i>	64

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИИ

Петр Ворошилов. Рядом — Монголия	66
----------------------------------	----

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Анатолий Бакалов. От первого лица	75
-----------------------------------	----

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Анатолий Паршинцев. Лесная трагедия	82
-------------------------------------	----

НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ

Вадим Назаров. Чего для? <i>Пародия</i>	83
---	----

На первой странице обложки: Осень. *Фотоэтюды* Николая Карева.

На второй странице обложки: Герман Захаров (г. Кемерово). Бессмертие (из триптиха «Я пришел дать вам волю»). Масло. *Фоторепродукция* В. Шишватова.

Редактор **В. М. МАЗАЕВ**

Редакционная коллегия: **В. М. Баянов, Г. А. Емельянов, И. М. Киселев, В. Ф. Куропатов** (отв. секретарь), **В. В. Махалов, В. Ф. Матвеев, З. А. Чигарева, Г. Е. Юров**

Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский пр., 40,
тел. 6-26-95, 6-85-14

Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор **Л. В. Глебова**, худож. редактор **А. С. Ротовский**; техн. редактор **Г. В. Адова**; корректоры **В. А. Лузина, Е. А. Царева**.

Сдано в набор 20.05.1980 г. Подписано в печать 18.07.1980 г. ОП00016. Формат 70×90¹/₁₆. Бумага типографская № 3. Усл. печ. л. 5,85. Уч.-изд. л. 6,57. Тираж 5000 экз. Заказ № 9687. Цена 50 коп. Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Ноградская, 5, Кемеровский полиграфкомбинат, Кемерово, Ноградская 5.

0 $\frac{70500-40}{М 145(03)-80}$ 30—80 4700000000

© Кемеровское книжное издательство, 1980

Людмила Филаткина

НОЧНАЯ СМЕНА

Рассказ



Анна Антоновна объяснила, что надо делать.

— Стоило кончать техникум! — фыркнула Лена, отсыпала белый порошок на стол, сложила листок бумаги вдвое и стала перебирать, вылавливать крошечные чёрные точки мусора из бромистого калия. Рядом за столом склонилась вся смена отделения. Руки заняты, языки — свободны. Лена слушала невнимательно, скучала.

— Во втором корпусе опять поломка, — сказала Валя.

Анна Антоновна пояснила:

— Какой-то ротозей оставил открытой задвижку.

— А Панова-то? А? — сказал Аркадий. — Мы ведь в одну школу ходили! Она в параллельном классе... Охо-хо!

«Старый сплетник! — зло подумала Лена. — Разве это мужчина? Рабочий? Словно великое счастье в жизни, вспоминает найденную как-то пятерку... Вообще, монстры собрались! Валька в институт поступила, нос дерет. Что тут особенного? Сама хихикает над рассказами Аркашки... Или взять Марину. Молчит, молчит... Видно, глупа как пробка, двух слов связать не может. Только Анна... непо-

нятная какая-то. Бродя, неплохая тетя. Но — до чего толстая! Разнесло ее, как квашню на опаре. Как можно толстеть до такой степени! И за что Шевелев расхваливал смену на все лады? Не понимаю! Я эту картинную галерею Нэлье опишу, то-то подивится... Стоило кончать техникум, чтобы мусор вылавливать...»

Лена с тоской вспомнила месяцы практики на азотно-туковом заводе: подрагивают стрелки на щитах контрольно-измерительных приборов. Вентиль — вправо, вентиль — влево... Непрерывное производство!

Продукт убывал, перекочевывал в полиэтиленовые, сизо-белые мешки. Аркадий взглянул на часы, сорвался с места. Через минуту-другую прибежал.

— Бром можно разливать... Давай, техник. Тебе — работа, — ухмыльнулся он и потянул Лену за рукав. — Куда — без противогаса! Бери. Пошли. Вот — бутылки. Подставляешь, открываешь кран. Налила, закрой. Ясно?

— Да.

Бутылки с притертыми пробками выстраивались в ящике. Темно-красная жидкость, похожая на вишневый сироп, тяжело струилась. Сбоку отле-

тали, парили красноватые облачка успевшего превратиться в газ брома. Противогаз липко прилегал к лицу.

«Кран — вправо, кран — влево... Странно... Как во сне. Совсем к другому готовилась. Может, раздастся звонок, проснусь, и окажется, что все приснилось? Если бы! Все — иное, словно в другом веке. Там, на азотно-туковом, — автоматика! И противогаз не нужен, практикантам его и не выдавали. А здесь... — Лена поежилась, струйки пота пощипывали лицо. — Ужасно! Оборудование допотопное. Вон сколько вручную делать приходится!.. Гораздо лучше было на азотно-туковом. Ох, какая же я была дура! Скучно казалось... Аппараты гудят — не нравилось. Муторно было, что только записывай да записывай. Твердила, как попугай, что не хочу быть живым прибором, что надо дело по душе... «Подставляешь, налила, закрой», — передразнила Лена Аркадия и сердито нахмурилась. — Начальником каждый кадровый себя мнит!»

— А что? — болтал в это время Аркадий. — Девчонка как будто старательная. Не бежит от дела.

— Шустришь опять! — резко осадил его Анна Антоновна. — Ты в конце смены посмотри на нее...

Аркадий замолчал, ушел в свои мысли:

«Жалко Ивана. Хороший мужик. Надежда бесится, детей-то нет. А могли быть... Эх, Пановы, Пановы! Да-а-а... Иван, пожалуй, тоже виноват. В армию уходил, все куражился: я, дескать, молодой, пожить хочу, не надо ярма на шею... Разве ж дети — ярмо?! Ну, не надо — так не надо. Вот и нету...

И с привычной нежностью: — Мои карапузы спят... Лесенкой растут. Пусть! На месте дырки крутят, коловерты. За столом, что саранча, мигом — пусто. Ничего! Проживем! Картохи накопаем... Антоновна просила в

саду помочь, — хмыкнул. — От нас помощь! Сочти, сколько мои чертушки слопают. Ягодку — в ведро, десяток — в рот. Пусть хоть с грядки полакомятся... Все одно: Антоновна по базарной цене возьмет с меня. Чудная она! Ни детей, ни родни... Куда ей деньги? На засол, что ли? Одна ведь, а много ли одному человеку надо?.. С премии бы Генке автомат купить...»

Аркадий вошел в ту пору, когда человек, еще чувствуя себя молодым, вдруг с удивлением замечает, что к нему все чаще обращаются по имени-отчеству. «Ну, положим, я — не мальчишка, — думает он, — но и не такой уж, чтобы... Хотя, хм...» Аркадий порой с недоумением оглядывал свой выводок: «Неуж мой?» Хмыкал, крутил головой...

Энергичный и непоседливый, Аркадий, как туго натянутая струна, откликался на любое событие в поселке, в мире ли. Кто приехал в поселок, он узнавал от соседей. Из газет — о новостях за рубежом. Он, бывало, сетовал, мотая головой:

— Рабочие, по его выходит, на буксире у крестьян. Вспомогательная сила...

— Про кого ты? — спрашивал ошарашенный собеседник.

— Да про Линь Бяо! — отвечал Аркаша так, словно китайский идеолог маоизма гонял с ним когда-то голубей.

Попасть Аркаше на язык никому из поселковых не хотелось, но и назвать его сплетником тоже можно было с натяжкой: сведения его всегда были точными. Осуждая Панову, он первый высказал в лицо женщине горькие слова, которые шептали люди за ее спиной.

Жена поругивала Аркадия за длинный язык:

— Болтун! Только врагов наживаешь...

— Волков бояться — в лес не ходить, — парировал он, довольно улыбаясь, а помедлив, добавлял: — Пусть правду знают... что люди говорят.

Слесарь Виталий Рыжков, который в армии был внештатником дивизионки, уверял, что в Аркашке погиб журналист.

— Знаешь, что говорил редактор? Журналист, что вор на ярмарке, все виды! Ты, Аркаша, что тот вор. От тебя ничего не скроешь...

— Это верно, — подтверждал Аркадий, посмеиваясь и припоминая, какие странные мысли бродили в его голове, когда он прибывал подметки, занимаясь в часы отдыха сапожным ремеслом: у пацанов обувь горела на ногах.

— Эх, Варя! Ты б хоть одну девку принесла. Опять, женка, мужика родишь? — осторожно трогал живот. Варя смущенно улыбалась.

Оба хотели, чтоб была в доме беленькая, тихонькая девчущка с тугими косичками в огромных синих бантах. Но буйное племя загорелых черноволосых — все в Аркадия — мальчишек почти с каждым годом прибывало, добившись уже для матери почетного звания. Аркадий был жизнелюб и радовался каждому новому жильцу на этой большой земле.

— Проживем! — бодро говорил он. — Была б картоха...

Вся семья жила радостно и немного бестолково...

Горка продукта истаявала на столе.

— Аркадий, начинай упаковывать, — скомандовала Анна Антоновна, когда последние крупницы порошка смели со столешницы.

Бромистый калий стоял уже расфасованный, пузатя мешки. Теперь его в ящики заколотить да по трафаретке надпись и адрес намалевать. Пустяковое занятие, на часок работы.

Анна Антоновна встала, ноги затекли, и мурашки иголками побежали вверх. Глянула на часы: без двадцати три. Вот и ночь на поворот пошла.

— Проверю, как наш специалист там.

У входа в отделение натянула противогаз. Захватила растворенный в банке гипосульфит и ваткой, намотанной на проволоку, стала разбрызгивать раствор — нейтрализовать пары брома. Подойдя к Лене, Анна Антоновна мотнула хоботом противогаса, иди, дескать. Сунула ей в руки банку: делай, как я, — и начала разливать бром.

«Зря, конечно... — рассеянно подумала она. — Лезу в каждую бочку затычкой. Мне в противогазе меньше надо. В любой момент сердце сбой даст. Нужно было Марину послать. Сами-то они не больно разбегутся! Молодые, а ленивые... Ну, а эту смелить пора. Устала девка с непривычки».

В белых клубах газа скрывались очертания аппаратов, стройная фигура Лены; гипосульфит делал свое дело, обезвреживая бром.

«Как время-то идет! Давно ли я была, как эта Лена, что кошей худущая? Навязался окаянный ревматизм, сердце пошаливает. А ну как совсем разболеюсь? Кому буду нужна? Мало ли что случится? — размышляла Анна Антоновна. — Дети обязаны за матерью ходить-ухаживать. А кто за мной будет?..»

Один как перст, говорят про таких людей. Отца Анна Антоновна едва помнила. Он погиб на войне. Мать, сильная и крупная женщина — Анна пошла в нее — ворочала работу, бывало, что ломовой конь, да не рассчитала, видать, силы: на лесозаготовках надорвалась. Оставила шестнадцатилетнюю дочь сиротой. Родня была где-то в России, но со смертью матери оборвались все родственные ниточки.

В молодости Анна стеснялась своего большого тела, некрасивости. Сверстницы накрутят кудряшки, на танцы бегут. А ей какие танцы, если любой ухажер под мышкой уместится?..

Сколько помнила себя Анна Антоновна, она была в работе. Любила ее истово. Без дела не сидела и других заставляла крутиться. Рвение Анны Антоновны заметили, поставили старшей в отделении. Ей бы командовать в большой семье, но не сложилась личная жизнь, потому Анна Антоновна царила среди аппаратчиков смены.

Ее чуждались, считали себялюбивой, грубой. С боязливой оглядкой называли за глаза «Иван Грозный». За могучее телосложение, басовитый голос, черный пушок на верхней губе, а пуще того — за властность.

Прозвище пошло с легкой руки начальника смены Ивана Петровича Дружинина, когда тот еще проходил стажировку.

Только что со студенческой скамьи, он был насмешлив и франтоват, отпустил скандинавскую бородку и считал себя неотразимым. В отделении Дружинину нравилось: девчонки смущались, Аркадий посмеивался над анекдотами. Целыми сменами Дружинин просиживал в подсобке, не особо утруждая себя изучением обязанностей начальника смены — что надо знать, само придет.

Конечно, Анне Антоновне не по душе было, что «студент» бездельничает и других расхолаживает, но она терпела: все же начальство. Терпела до поры до времени. Всему приходит конец. И Анна Антоновна не сдержалась однажды.

— А ты чего расселся? — набросилась она. — Ба-а-арин нашелся! Работай. А то ишь, хлипкий совсем... Думаешь, бороду отрастил, так мужиком стал? Нечего сиднем сидеть, хиханьки разводить... Дело само не делается!

С тех пор Дружинин побаивался в глубине души Анну Антоновну, но виду не показывал, понятно, хорохорился. Он-то и окрестил ее «Иоанном Грозным». Прозвище прижилось...

Сдавать стала против прежнего Анна Антоновна. Сказывались годы. Не было той неутомимости в работе. Все чаще приходили тревожные мысли о черном, завтрашнем, дне: «Как жизнь повернется, кто знает?» Жалея себя, Анна Антоновна начинала представлять, как расхворается, не сможет вставать с постели, как наймет сиделку... Без денег как наймешь?

Исподволь, незаметно, она, привыкнув сберегать любую копейку, ожидилась. Как раньше не знала меры в работе, так и теперь — в экономии, стала ущемлять себя. Ягоды, овощи из сада сама не ела вдоволь. Все продавала. Выручку от продажи несла на сберкнижку. На хозяйство тратилась скупко. К тряпкам всегда была равнодушна, а под старость — и подавно, вещи покупала только в случае крайней необходимости. У аппаратчиков заработка неплохие, а потому люди заметили довольно быстро, что Анна Антоновна живет слишком экономно, удивлялись. Но она, дальновидная и упрямая, как все, кто привык надеяться лишь на себя, презирала досужие разговоры и ехидные замечания всяких советчиков, готовила спокойную старость.

«Рублей девяносто пять наверняка смогу положить, — прикидывала она. — Клубника уже отходит... Смородина поспела. Аркадию надо сказать, чтоб сегодня-завтра приходил со своей оравой... Его старшой вчера в кустах девушку уговаривал, чтоб замуж за него шла, дескать, да что армия-то, что армия! Подумаешь, два года... Увидели меня — как чесанули! Жених с невестой... сопливые... Бром, видать, на исходе. Медленно течет. Еще ящик будет, не больше...»

Сквозь резину противогаза звуки доходили смутно: шум в ушах, как движение воды, перемежался перестуком молотков из соседнего помещения.

Аркадий забивал гвозди по-плотнически, с одного удара. У Вали не получалось.

— Сколько работаю, так и не научилась ящики заколачивать,—посетовала она.

— Ничего, не дрейфы! Для меня это главное... Сила есть, ума не надо. А тебе осталось недолго. Начальником станешь... Будешь нам в головы мысли вколачивать.

— Ну тебя, Аркаша! Вечно шутишь... Какой из меня начальник! Осяду в техотделе в рядовых...

— С такими планами — ясно! Инженер — это!... — От избытка мыслей Аркадий только головой покрутил, и рука замысловато вывернула молоток, удар все же оставался точным, по гвоздю. — Зачем поступала? Чье место заняла, подумала? Может, человек всю жизнь мечтает... Теперь год потерял. Это как понимать?

— Слушай, отстань. Надоело!

— Надоело... Надое-ела... Надо дело..., — поблескивая зубами в ухмылке бормотал Аркадий.

Валя не стала его слушать. «Правдолюб чертов! — В сердцах подумала она. — Три года в химии работаю, только химпроизводство и знаю. Ой-ей! Знаю!.. Что знаю-то? Процесс — загадка. Что, почему, отчего, зачем — ни на один вопрос не отвечу толком... Дремучая... Почему бы не поучиться уму-разуму? Сейчас кто не учится? Да и всю жизнь в аппаратах провести — удовольствие ниже среднего. Таскать эти мешки, ящики. Взвалишь на загорбок 30—40 кило, аж шатаешься! Раньше болезней знать не знала, а теперь криком кричу, хоть скорую

вызывай... А что уж проще: установить транспортер...»

Девушка живо представила темное, с черным полом помещение и, ощущая себя волшебницей, стала заменять аппараты, переделывать все в отделении по-своему:

«Молоко разливает автомат. Поставлю автомат на бром. Под гигантским колпаком тяжело струится темно-красная жидкость. Подхожу в беленьком халатике, с шикарнейшей прической. Автомат работает, как часы. Записала показания приборов и дальше каблучками цок-цок. По транспортеру мешки едут, растопырились: другой автомат после аппарата отправил продукт на фильтр, оттуда — в мешки. Готово! Чистейший порошок, ни пылинки!

По стенам фрески, цветы благоухают. Пол паркетный. Нет, лучше сделаю так: полихлорвиниловая плитка разноцветным орнаментом.

Захожу в подсобку, а вместо Аркашки гвозди забивает робот!»

Тут Вале самой смешно стало. Спросила:

— Слушай, а робот гвозди может забивать?

— Робот? — глубокомысленно переспросил Аркадий. — Наверяд ли... Хотя... черт знает? Наверно...

— Ой-ей! Все может! Будешь выступать, придумаю автомат, и придется тебе, Аркашенька, в дворники идти. Я и там тебя настигну. Сделаю автомателу. Учти. Чем семейство кормить будешь? Не зарывайся. Понял?

— Бабка надвое гадала, на воде вилами писала, я посланье получил и Валюшу восхвалил!

— А поэт из тебя не получился, факт!

Вошла, тяжело ступая, Анна Антоновна, стянула с потного лица противогаз и прервала разговор:

— Что вы вечно задираетесь? Ящики выносите. У меня — все.

— Ну и мы последний гвоздь вколоти́м. Трафаретъ этот, Лена.

Аркадий составил ящики вдоль стены, заметил:

— Ты, Антоновна, посиди. Мы вынесем. Пошли, девчата!

У входа в отделение приняхался: — Вроде, не пахнет...

— Надень! — сказала Анна Антоновна. — Не ленись.

— Да-да, — подтвердила Валя. — Помнишь, как у Василия и Веры лопнула бутылка? Здорово надышались, пока то да се...

— Я ж не Василий! — хмыкнул Аркадий. — Нырнули!

И все четверо, натянув противогазы, стали слониками (так показалось Марине), безобразными существами из кошмара (так решила Лена). Остальные ничего не подумали — пригляделось. Быстро вынесли ящики с бромом на воздух, к линии железнодорожных путей: утром их отправят по назначению.

— Перекур? — спросил Аркадий.

— Отдыхайте, — устало сказала Анна Антоновна. — А я посмотрю, как дела у соседей.

— Кимарить пошла, — подмигнул Аркадий. — Слесарей проведать, что ли?

Лена тоже вышла из отделения, посто́яла.

Звезды, яркие, крупные, горели над головой. Странное чувство, что у нее уже было такое в жизни, охватило Лену. Что и ночь, даже не подобная, а именно эта, и состояние неустроенности, страшно знакомое... Она напряженно стала вспоминать:

«Было?.. Разве что на первом курсе, когда послали в колхоз в Соломиху? Нет... Кажется, и дня ясного за весь месяц не было. Особенно в первые дни: нескончаемый дождь, слякоть... Тоскливо, одиноко. Друг друга не знали, дичились. Да еще и парней и нас, девчонок, поселили в одной из

бушке. Непривычно как-то... Потом незаметно подружились. И помнится-то хорошее... Вот ведь как человек устроен, ко всему привыкает... Может, и здесь?.. Три года... Три года, боже!.. Оказаться бы сейчас в той бревенчатой избушке. Посмеяться, пошутить — все свои. Всех знаешь, все тебя знают. Легко и просто, в своей тарелке себя чувствуешь... Не то, что здесь, с этими чужими людьми... Если б Нэлька не выскочила замуж! Поехали бы вместе... Где сейчас все наши? Учеба кончилась, поразъехались... Жаль...»

Лена запрокинула голову. Небо было усеяно звездами. Только в полях да в степи бывают такие звездные ночи, когда небо недосыгаемо далеко, и в невообразимой дали, в непроницаемой тьме, низко — ниже, чем в городе, висят миллиарды огней. Они словно прорывают ткань ночи, тянутся лучами — ближе, ближе!

К середине августовской ночи небо начинает терять глубину и бархатистость: наметился поворот к рассвету.

В эти предутренние часы чаще всего рождаются дети и умирают больные — и счастье тому, кто встретил первые лучи солнца, он будет жить почти точно, должен прожить еще один день, до нового рассвета.

Именно под утро неодолимо хочется спать — чувство, хорошо знакомое тем, кто работал в ночные смены. Если удастся уснуть лишь на пару часов, то встаешь вялый, разбитый. Кто пересилил себя, отключился на пять-десять минут, но встряхнулся, победил сон, тот с прозрачной легкостью в теле видит зарево на востоке...

Лена не знала таких тонкостей, ей было холодно и одиноко, хотелось согреться. Потому она облюбовала себе большой ящик со стружками и завалилась поспать.

— Э-э, девка, как тебя... Лен, вставай. Что надумала-то, а? С удобствами устроилась... Ты ж на смене!

Лена вяло поднялась, с раздражением посмотрела на Аркадия: как огурчик.

А в небе уже занималась заря, цветом незрелого лимона высветлила горизонт.

— Я говорю, поймают начальник смены... А того хуже — Иван Грозный, сто раз пожалеешь! И вообще, в ящике не стоит спать. Здесь тарантулы водятся.

Лена так и подскочила.

— Ты лучше сидя покимарь... А так — не стоит. Не уснешь потом, — поучал Аркадий. — Весь день будешь потерянная. Ну ладно, на первый раз прощается. Пошли... Спросят, говори, что со мной была...

Лену и впрямь разморило. Аппаратчики нашли себе заделье, прибирались, а она, сидя на лавочке возле стола, только таращила слипающиеся глаза. — Аркадий колдовал с плотничьими принадлежностями. Анна Антоновна пересчитывала мешки, ящики, записывала что-то, ей деятельно помогала Валя.

Марина шепнула:

— Лена-Лен, ты холодной водой ополосни лицо. Легче станет сразу... Полю тебе...

Взяла шланг, потянула за собой в отделение, как длинную тонкую змею.

Лена так и промаялась, неприкаянная, до конца смены. В окне виднелся бок трансформаторной подстанции и дальше — долгое пустое пространство. К Лене никто не обращался с поручениями. Анна Антоновна то ли завоевывала ее расположение, то ли стремилась показать остальным аппаратчикам непригодность и никчемность специалиста, в общем, помалкивала. Лена сидела полусонная, с легкой завистью поглядывая на занятых рабочих, особенно — на Марину: как-то непривычно было бездельничать, когда другие — в трудах.

С упоением Марина поливала из

шланга пол, и он блестел, как антрацит. Первые солнечные лучи пробились в отделение и сотворили эфемерную радугу в рассыпающихся мельчайших брызгах воды. Брусчатку пола заливало потоками. И под шум водных струй Марина восторженно шептала:

«Выпрыгивают капли из лужи,
Будто им головы кружит
Радость или отвага
От дождевого шага...
Что одна капля?»

Пустяк!

Лопнет пузырь-толстяк
И разбежится кругами...
Даже не тронешь руками.
А вместе — такая сила!..»

Не хватало слов, чтобы выразить радостное изумление перед всепроникающей, очищающей силой воды. «А вместе... Вместе... Мы будем вместе, Андрейка мой хороший. Почти два года прошло... — поправила себя, — год, десять месяцев и один день...»

Каждый день в разлуке с любимым человеком кажется напрасно прожитым. Когда стрелка часов подбиралась к одиннадцати ночи или когда Марина возвращалась со второй смены, она наклонной чертой зачеркивала число в настольном листе календаря и подмигивала Андрею, чей портрет стоял на столе: «Еще один... Еще на день сократилась разлука, Андрейка. Завтра напишешь письмо? Я жду... И ты не скучай... Не сильно скучай, немножко можно... По радио передают Поля Мориа. Как чудно! Наверно, я совсем глупая, я не могу выразить мысли и чувства... Но ты любишь. Ты — судьба моя и счастье! Я перестану верить в людей, если мы не будем счастливы... Помнишь прощальный вечер? И твои слова?.. И я помню...»

Настрой Марины, жизнь в ожидании счастья озаряли радужным ореолом все вокруг. Люди счастливые — равнодушны, в горе — озлоблены, и,

быть может, только в состоянии предчувствия счастья человек раним за ближних, чутко воспринимает чужую боль, как свою. И щедр...

— Марина! Ты никак еще на смену решила остаться? Здравствуй! — Приветствовали девушку неразлучные подруги Лариса и Галка.

— Девчата! Что?.. Уже подвосьмого?

— Представьте себе, представьте себе... — пропела Лариса. — Смотри, Алексей Миронович и Иван Петрович пожаловали. Кончай работу!

Первым в корпус зашел начальник цеха Алексей Миронович Шевелев, за его плечом маячила шкиперская бородка Дружинина. Опасаясь втайне за свой авторитет, начальник смены старался реже появляться в отделении и обычно пропадал во втором корпусе, где последнее время дела не ладились. Аппаратчиков Иван Петрович навещал в конце и в начале смены: приветствие, два-три вопроса, пара комплиментов девчонкам, где-нибудь на выходе анекдотец Аркадию и — до следующего визита. Валюха поначалу обижалась и однажды, секретничая с Мариной, сказала:

— А тебе не кажется, что Дружинин трусливый? Уж его-то Иваном Грозным не назовешь...

Теперь девчонки, завидев Ивана Петровича, переглядывались.

Вот и сейчас Дружинин подошел не к Анне Антоновне, а к Вале, спросил:

— Убрали калий?

— Убрали, убрали, Иван Петрович! Сказано — сделано. Пройдемте сюда, убедитесь, — тараторила Валя, улыбаясь и поглядывая то на Дружинина, то на Шевелева.

Алексей Миронович задержался, внимательно взгляделся в лицо Анны Антоновны:

— Как тут у вас?.. Как специалист?

— Поживем — увидим, — насупленно сказала Анна Антоновна.

— Как смена? Без происшествий?

— Да обычная смена... А что спрашиваешь?

— Вид какой-то у тебя... Не вредно в ночную?

— Вид как вид, — сказала Анна Антоновна, криво улыбулась и спросила: — Что? Заменить решил?.. Специалиста на мое место, а? Все выспрашиваешь, интересуешься...

Алексей Миронович засмеялся, спросил отрывисто:

— Сколько дали сегодня?

Анна Антоновна сверилась с записями, ответила:

— Брома... Десять ящиков по двенадцать. И те три. Сто пятьдесят шесть литров. Калий с фильтра не снимали, сырой еще. Упаковали... Тринадцать по десять килограмм.

— Мда... Ну, давайте в том же духе, — Алексей Миронович попрощался и отправился дальше.

Подошел Василий, затем Вера и Наталья Дмитриевна. На прощание Аркадий предупредил:

— На фильтре фарфоровый вентиль заедает. Вася, осторожнее с ним. С дверями, женщинами и вентилями следует обращаться бережно! — Хотнул, намекая на большую физическую силу сменщика, из-за чего у него происходили вечные истории — хрупкие предметы разбивались в руках Василия. — Бывайте!

...Раздевалка, душевая... Лена, помедлив, стыдливо шмыгнула под душ. Утомленное тело благодарно приникло к воде.

Громкие возгласы, шутки, смех женщин гулко раздавались в помещении. Все коробило Лену, казалось грубым, примитивным. «Три года по направлению. Три года! Да я с ума сойду!»

— Что нос повесила? — спросила Анна Антоновна. — Не кисни, девка! — опустил рядом на скамейку: — Ох,

ноженьки мои! Так и гудят, так и ноют. Замучил ревматизм проклятый!.. Устала с непривычки-то?

Лена отрицательно покачала головой.

— Нет? А тут ног не чуешь...

— Лена, ты готова? Анна Антоновна, ну а вы? — окликнула Валя.

— Идите! — махнула рукой Анна Антоновна. — Я уж, как всегда. Где мне за вами угнаться!

Валя, странно возбужденная, разговаривала без умолку и успела надоесть Лене, пока дошли до проходной.

— Кузьма Петрович, здравствуйте! Что-то ваши часы спешат? — Марина сверила будильник на столе вахтера со своими: — На двадцать минут.

Седенький юркий старикашка-охранник мелькнул по ним быстрыми глазами, буркнул:

— Эти часы знают закон Ома. Сами здесь, а душа — дома.

— Ой, не могу! — прыснула Валя, вылетая за двери проходной. — Закон Ома... Умора!

Девушки посмеялись. И Лена вдруг почувствовала, как напряжение и усталость оставили ее.

— Ты, Леночка, веселей держись! — говорила Валя. — Сейчас тебе, конечно, все незнакомо. Но — ничего! Привыкнешь! Дружинин, помню, все плевался, уехать хотел. А — помалкивает. Квартиру получил однокомнатную, деньги неплохие зарабатывает... Пойдем вечером на танцы? У нас ансамбль, знаешь, какой? Из города приезжают. Пойдешь?..

За разговором незаметна дорога до поселка. Новые высотные дома вкли-

нивались в толпу одноэтажных частных домов. Горизонт с одной стороны прорывали корпуса завода, с другой — дома поселка, а слева — воды озера были как бы продолжением степного простора. Пыль взметывалась под ногами и бежала вслед за ветерком, не задерживаясь в колючих травах и редких чахлах деревцах, посаженных, наверно, в прошлом году.

«А у нас! — подумала Лена. — У нас леса могучие. Ветра нет. Такого ветра, нудного, постоянного... Как тут жить? Как живут здесь люди?» Она спросила:

— Девчата, у вас всегда ветер?.. Ну, так и дует всегда?

— Да? — удивилась Марина. — Я не замечаяю. Ветер пахнет полынью... Хорошо! А весной! Вся степь в цветах. Красиво у нас! Раздолье... Ты — куда?

— В общежитие.

— Я на почту забегу, — сказала Марина. — До свидания, девочки.

— Мне — по пути. Надо в райком комсомола... Лена, так ты подумай. Я забегу вечером. Пока! — сказала Валя.

Лена кивнула головой.

«Сегодня снова в ночную смену... То ли пойти на танцы? Что за ансамбль, интересно?.. Выспаться надо. Выплюсь, день большой... Схожу, наверно. Хоть буду знать... И все же — три года... Ну что я в самом-то деле заладила: три года, три года! Поживем — увидим...»

Николай Колмогоров



Я не знаю судьбы наперед.
Мне по нраву привет удивленья,
возглас радости, гам, ледоход
и внезапная спазма волненья.
Вихрь закинутых к облаку птиц,
первый гром по небесным
задворкам...

Те минуты, когда наших лиц
жизнь коснулась крылатым
восторгом!
Расплескав через край бытие,
в добром деле желая успеха,
раздает она благо свое —
молодильные яблоки смеха.

Хрустальной палицей мороза
земля насквозь потрясена!
На ней глубокий след обоза
и в чашу вмерзла тишина.
Там, где дорога в гору круче,
все чудится, как над рекой
идут за снеговые тучи
одна подвода за другой.
Зияет вечера горнило.
Полозя по небу скрипят.
И вижу снова все, как было
сто или двадцать лет назад:
прозябнув до гусиной кожи,
мальчишкою дышу в ладонь
в тот час, когда за Томь, похоже,
вот-вот закатится огонь...

Начинают жить оттаявшие крыши,
прибыл свет и громче сходит снег.
Но еще прохладно, будто в нише,
в пихтаче, где несравнимо тише
и не слышно рокотанья рек.

Только все ж, когда бушуют воды,
дни бурлят, беснуются ручьи, —
ближе сердцу вещей шум природы,
смысл ее движенья, все невзгоды,
бóльшие намного, чем твои.

И теперь на новый адрес птицам
пишет горизонт во все концы.
Снегирям, щеглам, клестам, синицам
к северу лететь и там селиться,
а из-за пределов к нам — скворцы!

Кончился арест домашней скуки.
Ящик почты полон новостей.
Коль весна развязывает руки,
как легко вздохнуть — после разлуки
со здоровым воздухом полей!

Снять пальто, взобраться по откосу
ближе к облакам и, может быть,
вытащив случайную занозу,
на полуожившую березу
накрепко скворечник прикрепить.

Слышу дни, когда дом наполнялся,
оживал голосами друзей.
Неуклюжий дымок поднимался
из печи над баней моей.
Сохли веники, мята, вербейник
на тесовой веранде, где чай,
где балованный всеми затейник
острословил как бы невзначай.
А другой жизнелюб неперемный,
чей топорщился колом вихор,
пел романсы под крышей вселенной
баритоном картавым во двор.
Кто-то спорил об истинах старых,
как ни странно, всегда молодых.
О стихах и любви, о Стожарах
и загадках явлений иных.
В это теплое время босое,
когда сутки почти что светло,
нисходило к нам нечто большое
и соратниками нарекло.
Мы спускались тропюю к колодцу
по малиннику, через пихтач,
где студеная прозелень льется,
ломит зубы и горло, хоть плачь.
Но горячего воздуха токи
протекали за ворот с виска,
и от хвои, опавшей под ноги,
похоронами пахло слегка.
Как оттягивал руки подземный
холодок, заключенный в ведро!
Как внезапно тоской сокровенной
на мгновение сердце свело!
Вот свисток электрички поранит
за тайгой вечеряющий свет,
одиночество за спину встанет,
помашу вам легонько вослед.
В час безветрия мимо опушки
возвращусь молчаливый назад —
через дверь деревянной ракушки
до сих пор ваши судьбы гудят.

Екатерина Дубро

ОБЛАЧНО, С ПРОЯСНЕНИЯМИ

Рассказ



I

— Ого, торт! И даже ореховый? — Любара перехватывает у Кати коробку и кружится по кухне. — Гости будут?

— Нет. — Катя забирает коробку, пристраивает на подоконнике, у замочающего снаружи, холодного стекла. — Я к маме сегодня пойду. Мама у меня сластена.

— Жаль, у меня свободный вечер. С собой не возьмешь?

— Извини, нет, я, наверное, и ночевать останусь там. А кто в ванной?

— Нэлка в ванной. Так я что, напрасно ужин готовлю? — Любара стряхивает с блюда в мясной фарш резаный лук, и все-то ее лицо — само отвращение. — Страдаю-то пошто? Хоть бы заранее предупредили.

— А что?

— Так Нэлку в ресторан ведут, есть не будет, ты уходишь.

— Я могу поужинать, — сказала Катя.

— Молодец! — похвалила Любара. — Ты настоящий товарищ и друга не оставишь в беде.

Имелось в виду качество пригото-

вления, почти всегда скверное. Готовить она не любила, не умела, поэтому, с общего согласия, очередные кухонные дежурства Любаре чаще всего заменялись другими общежитскими нагрузками, тоже, впрочем, обременительными ей. В чем не было Любаре замены, это в организационных мероприятиях: достать хорошие билеты на концерт, выбить у администрации лишний инвентарь в квартиру и тому подобное. На то она и Любара, а не Люба, не, тем более, Любаша.

— Я — живу, — заявила однажды, и этим было все сказано.

— А ты? — спрашивала у Кати. — Вся зажатая. Ну зачем? Ей-богу, мне тебя жалко. А Нэлку — и вдвое: оттого, что ей, бедняге, свои принципы пришлось выдумать, а разве легко носить одежду не по размеру, когда тесно-то ой как? Тесно, а, Нэлинька, а, голубонька?

Нэлка покраснела и теряла слова, негодую и оскорбляясь.

— Грубиянка! — только и отвечала.

— Ох, и тусклые мне соседки попались, — Любара вздыхала. — Но мы еще увидим рваные твои наряды, — подмигивала Нэлке. — Не напритворяешься

долго. Видела я таких, всяких видела. Катерина, да ведь и ты, я же знаю, согласна со мной. Ну-ка, ну-ка, не струсь, не отомчись!

Нэлка затравленно взглядывала на Катю, уже готовая и ее возненавидеть. Катя молчала.

Сейчас Катя наново перекалывала волосы перед зеркальной изнутри дверцей шифоньера. И опять старалась не думать о своем. Ну, вот о Нэлке хотя бы. Похоже, Любарины предсказания сбываются: трещат Нэлкины строгие принципы. Небольшое, правда, и диво, потому что, действительно, пережимала Нэла.

Любара считала правильным, что Нэлка поехала в другой город налаживать свою личную жизнь, делать это надо, пока молодые лета, пока сынок маленький и хочет папу. В самом деле, соглашалась Катя, надо, вероятно. И все-таки: уехать, пусть и в двух часах автобусной езды от дома, оставить сынишку на деда с бабкой!.. — нет. Катю именно это сразу насторожило. Но поэтому же и Любара так уверенно поджидала скорых перемен в Нэлке, в «нашей принцессе».

— Мужик в юбке, — мстительно фыркала нежная Нэлка. — Ни интеллекта, ни женственности. Лошадь.

Не при Любаре, конечно. Катю она не стеснялась. А сама, между прочим, жила в неразгаданной загадке: отчего это у грубой и неженственной Любары кавалеров хоть отбавляй — однажды явилась даже подбитая одним ревнивцем! — а вот ей, красивой и неглупой, еще поискать.

— Жизни в тебе нет, поняла? — объяснила, словно догадываясь о Нэлкиных терзаниях, Любара. — Перчику. Ты бы хотела, чтоб с твоей красотой все носились, как с писаной торбой, и не дышали? А ты забудь, что ты красивая!

Нэлка усмехалась: той, конечно, вольно было так рассуждать, коль са-

ма некрасивая. Да, но вот поди же — не скучает одна! Нэлка уверяла всех, что причины тому вполне определенные. А Любара и не отрицала.

— Почему же замуж тогда не ходишь? — улыбалась Нэлка тонко. — Любара-забава?

— А вот назабавляюсь — и выйду. Не встретился еще такой.

О замужестве только и разговоров здесь, только тем и пропитан общежитский климат.

— Прихорашиваешься? — Любара встала в двери, руки в боки, передник перепачкан соусом. — А домой ли ты собираешься, милка моя? — нарочно засомневалась.

Нарочно, потому что давно «раскусила» Катерину — остаться в девах ей, серой мышке. Любила обыгрывать эту тему.

— Может быть, и не домой, — ответила Катя. Когда касалось ее, предпочитала не углубляться в объяснения, тем более — с Любарой.

— Ну-ну, — поощрила та. — Ужинать-то идешь?

— Иду.

В кухне лепили пельмени Вера и Зина (из второй, в этой же квартире, комнаты), и Кате можно было не вслушиваться в Любарины речи: Зина поддержит за всех.

Катя порезала котлету, медленно жевала и, глядя в окно, видела, что дождь поутих и, возможно, скоро кончится, это хорошо. Это хорошо, думала Катя, и надо только об этом пока и думать, если уж нельзя совсем ни о чем.

Ни о чем, ни о чем... Тут Катя почувствовала, что ей нехорошо, — и сразу размыслись оконные очертания, погасли, будто ватным одеялом прихлопнутые, голоса. И сразу липким жаром окатило всю, виски и ладони взмокли, а тело замерло, одновременно и напрягшись и инстинктивно стремясь к расслабленности: чтобы обмануть дур-

ноту несопротивлением. Чтобы и не усилить ее и не воспротивиться ей: чего не замечаю, того нет!

«Хитрость» удалась, сошло на первый раз. Но испуг остался, и Катя дожевывала уже совсем медленно, надо было проглотить и больше ничего не есть. Вспомнила, как недавно выскакивала, внезапно зажав ладонью рот, из-за стола Зина и как все поняли сразу, в чем дело. Зина меры приняла, но все все равно узнали. Теперь только Кате не хватало этого!

Но ведь узнают со временем, подумала она, и теперь — впервые — с отчетливостью подумала. А может быть, не узнают, если... Главное, самой-то подготовиться. Потому что, если да, то какой же испуг? Недостойно это и унижительно, себя уважать перестанешь. А ОН? Появится, а ему: тебя здесь не ждали, в секрете прятали? Ну, нет.

— А куда это запропала Екатерина-первая? — Любарин голос пробил-ся-таки сквозь ватные покровы.

— Кто ее знает, — равнодушно ответила Зина и ссыпала пельмени в кастрюльку с кипятком. Веры уже не было в кухне.

— Ну и царицы у нас: одна грешница, другая начисто лишена... э-э, чего, Катерина? — шутила Любара.

Второй «царицей» — порядковый номер по старшинству — прозывалась Катя: Екатерина-вторая, младшая.

— Вера уходит от нас, — сказала Зина, глядя куда-то вбок.

— Почему? — Любара жевала.

Зина не ответила и тоже вышла.

Любара деловито вымазывала хлебной корочкой тарелку из-под салата.

— Что ни день, то новости, — сказала. — Интересно, кого вместо нее подсеять? Ритку позвать, что ли? А ты пошла бы в ту комнату, если я Ритку к себе позову?

Катя все еще не отваживалась проглотить опротивевшую пищу, пропу-

скала в себя по крохе на глоток. И смотрела, как по оконному стеклу извилисто и юрко бежали ящерками тонкие струйки дождя. Уже смеркалось, головки беспокойных ящерок прозрачно поблескивали.

— Катя! — окликнула Любара.

— Нет, я останусь в своей комнате, — ответила Катя и встала. — Спасибо, Люба, я сыта.

— Да ты почти ничего не съела! Ну, конечно, и на том спасибо, Нэл-ка, та и притвориться не желает: не могу, говорит, твоей стряпней портить себе настроение.

— Люба, — Катя остановилась в двери, — тебе все равно, почему уходит от нас Вера?

Любара загремела, вставая, табуреткой.

— Уходит да и уходит, не заплачем.

— Мы — да. Ну, а если плачет она?

— Это все еще из-за того? — и засмеялась, но засмеялась Любара нарочито, по слогам: — Ха-ха-ха!.. Я же ей правду говорила. Что поделать, я человек прямой, притворяться не умею. Что думаю, то всегда и скажу. Уж такая есть.

— А ты не замечаешь, что эта «правда» обычно бывает обидной? И так ли необходимо ее, такую, высказывать? Когда и не в принципе дело, и не спросил никто, и лишь больно сделаешь своим личным мнением вслух и при всех.

— Ого, Катерина! Что-то новенькое. Но давай не будем, я знаю, что ты можешь сказать. Ты же у нас идеалистка.

— Но если ты можешь всем что угодно говорить, почему бы и самой не выслушивать?

Любара засмеялась:

— Екатерина-вторая гневается! Ах, да надоело мне, Катруся, твои морали. Ей-богу, лучше не стану, я себе и такая нравлюсь. С тебя, что ли, при-

мер брать? То нельзя, так не скажи, этак невежливо! Скушная ты девица, Катруся, мышка серая.

Говорила почти ласково, с жалостливой улыбочкой, хотя глаза-то смотрели иначе.

— А все-таки, Люба, одна ведь ты не можешь. Хотя бы только поэтому побережнее надо.

— Кого надо, я берегу.

— Как? Дружишь с Дранниковой, а она и понятия не имеет, что все ее секреты прополосканы не одним языком.

Любара усмехнулась:

— Доложи ей.

— Не умею я этого. Не настолько правдивая.

— Ах, и эта!—но не закончила, обрвала фразу Любара. И в самом деле, говорили опомнившиеся движения ее вдруг вялоутомленного внезапной скукой тела, сущие ведь пустяки.

Кате тоскливо стало.

В уже зашторенной комнате и при электричестве Нэлка сушила волосы под нахлобученным сушуаром, провод тянулся от розетки к ее кровати, где сидела Нэлка, закрыв глаза, и только палец по колену расписывал в такт каким-то ее мыслям.

— Добрый вечер, — сказала Катя.

— Ну, и что тебе успела напелсти Любара? — вместо ответа спросила Нэлка.

— Ничего.

— Знаю! Ох, не дождусь, скорее бы отсюда!

— И когда? — спросила Катя.

— Свадьба в июне.

Катя вынимала из тумбочки, складывала в сумку вязанье свое и письмо от теток — показать дома.

— Что молчишь? — занервничала Нэлка. — Ну, Любаре завидно, а тебе-то?

— Чему же завидовать? — Катя зашелкнула сумку.

— А что? — напряглась Нэлка. — Плохой парень разве?

— Хороший, Нэля. И что тебе до нашего мнения?

— Думаєте, за деньги выхожу, да?

— Нэля, Нэля, — Катя улыбнулась, — я ухожу, до свиданья. Приятного тебе вечера.

Нужно было вернуться в кухню, где Любара мыла посуду в завершение своего дежурства. И почему не взяла торт сразу!

А Любара уже выходила, напевая, из кухни.

— Да, Катерина, я совсем забыла: к нам ведь завтра гости, а ты с ночевой уходишь и, главное, уносишь торт.

— Ко всем нам гости?

— Ко всем. «Я приду к вам завтра», — сказал Андронов. Часам к двенадцати.

Хорошо, не включен еще свет в коридоре, лишь из кухни подсветка!

— Думаю, а не из-за Нэлки ли он? — продолжала Любара. — Прознал, что замуж собралась, ну, и заинтересовался. Мужики, они такие. Помнишь прошлую осень? Нэлка-то глазки ему строила.

Катя молчала.

— Дуешься? — догадалась Любара. — Не порти себе здоровье, Катруся, я все равно не изменюсь. И если бы все так, как ты обо мне думаешь, то откуда стольким друзьям взяться? А они у меня есть.

— Друзей много не бывает — много бывает знакомых.

— Ну, пусть так. Но я хоть с кем полажу и не ссорюсь никогда, а ты вот ссоришься со мной.

— Ты, Люба, не ссоришься, потому что с тобой бояться ссориться.

— Это почему еще? — Любара была настроена непробиваемо-весело.

— Потому, что опасно с тобой ссориться, свету не взвидишь.

— Все боятся, а ты, стало быть, нет?

И в самом деле, зачем на рожон

полезла? Себя не узнавала. И совсем уже лихо стало Кате.

— Ну-ну, — подвела какой-то свой итог Любара и щелкнула пальцами. — Так ты не вернешься к полудню? И о тебе же спрашивал Андронов.

— Что спрашивал?

— Ну, вообще, не помню точно. Вроде того: а Былинкина с вами еще? Как время проводите, девочки? Мы в районной поликлинике встретились. Вот бы тортик твой пригодился, а?

— До свидания, — Катя шагнула к светящейся, в марлевой задержке, кухонной двери.

Там ужинала пельменями вторая комната в неполном составе — трое, без Екатерины-первой.

— Приятного аппетита, — Катя взяла торг. — Ухожу, девочки, весело оставаться.

— Как бы в царстве переворот не свершился, пока обе Екатерины отсутствуют, — пошутила Зина.

— А и надо бы.

— Чего надо бы? — не поняла Зина.

— Переворот. А вы вот — эмигрируете.

— Былинкина! — закричала вслед Зина. — Недопоняли, объясни!

— Потом.

Бойтся ли она Любариной болтовни? Вышло, что нет, но кому приятны сплетни? Вот если бы каждый придерживался правила не верить ничему худому с чужих слов...

На улице было холодно и сыро, но хоть сверху-то уже не мочило. И было сумеречно из-за сплошную тучевого неба. Но вечерних огней улица не зажгла: все-таки май месяц, с долгим днем.

Шла Катя быстро. Она теперь всегда ходила по улице быстро, даже если не спешила: такая ходьба создавала иллюзию острой занятости и, во всяком случае, мешала сосредоточиться, углубиться в какую-нибудь из тех мыслей. Маленький отдых, пусть искус-

ственный, был необходим инстинктивно.

Тогда, в самом начале, чувства тоже были отстранены, этак потихонечку, чтобы не метались в панике. Ей казалось: если сейчас замкнуться хотя бы во внешнем спокойствии, то и внутренняя жизнь затаится и позволит разобраться во всем и все предвидеть: даст отсрочку.

Временно жизнь, добежав до двадцати трех лет, приостановилась — и начались ожидания, началась путаница, всяческие выяснения и пересмотры, что в активе, что в пассиве, что в перспективе.

А та, новая, — ее и в ней — жизнь требовала как раз полной ясности во всем внешнем, ей выжидать некогда, каждый день подстегивал, нес затаенный до поры до времени взрыв.

И вот шла Катя Былинкина, почти бежала, и ритм столь враждебного раздумья шага не совпадал с ритмом навязавшейся мысли. Тело рвалось освободиться, устать в ходьбе, вымотаться. В иные моменты даже казалось возможным это — выбежать, вырваться под шумок кожного пальто и перестук каблучков из зоны той тревоги, тех мыслей: еще рывок, и все позади, не догнать им, не вернуть ее себе.

А ведь существует же мудрость эмбриональной диапаузы! Животным в этом отношении повезло, природа, в зависимости от внешних условий, проявляет к ним удивительную заботливость, можно позавидовать. Человеку хоть бы в настроении даровано было такое...

Во дворе встретились знакомые. Катя здоровалась и, проходя, спиной чувствовала продленное внимание провожающего взгляда: наверное, тут не всем еще было известно от мамы или от третьих дворовых лиц, почему эта девица, то бишь Екатерина Былинкина, вдруг ушла из дому.

Но, возможно, никакого любопытства нет, и напрасно сводит плечи?

— Ой, да что же ты своим ключом не открываешь, Катя?

Мать отступает в глубь коридора, но тотчас кидается помочь, перехватывает с Катиного плеча сумку.

Катя протягивает коробку с тортом:

— Нате-ка.

— Ах, да! Продукт нежный. Только зачем тратилась? Не в гости же.

— Чай сейчас гонять будем, — говорит Катя и расстегивается, и вешает на пластмассовые крючки свою красную кожаную кепку, красное пальто, наклоняется разуться. — Отец дома?

— Нету. Дядя Паша его в баню свою позвал, ну как не соблазниться? Утром небось явится. А ты волосы поновому причесываешь, с распущенными совсем как девчонка была.

— А так?

— Так лучше. Гладенько, аккуратно. Ну, пойдем. Там телевизор включен, будешь смотреть?

— А вы?

— Да я уже не хочу, пойду заливать в самовар воду.

— Тогда выключим.

Мать суетилась, вся радостно-напряженная, и, конечно же, ее угловатое оживление передалось всем кухонным предметам, — и вот вилка выпала, вот весело-звонно рассыпались по столу чайные ложечки, а самоварная крышка опустилась на место тоже с излишним пристуком.

— Ай, все из рук прыгает, — засмущалась она, но тут же налетела на табурет. — Ой! — и засмеялась совсем по-молодому.

Катя улыбнулась.

— Да вы не спешите, мама.

— Может быть, заночуешь?

И снова громыхнул задетый табурет, на этот раз очень вовремя, прикрыв своим звуком тихую затаенность обычного, казалось бы, вопроса.

— Конечно, останусь, — торопливо

согласилась Катя. — Я даже и с вязаньем пришла. Мам, не получается тот узор, ну, помните?

И мать, вмиг успокоенная, скорее-хонько подхватила новую тему:

— Катя, да я тоже долго в нем разбиралась. Ну после ужина посмотрим.

— Угу. Только я, мам, ужинала, а вот от чая не откажусь.

Чаевничали весело, и не в кухне, а в большой комнате, на нарядно вышитой скатерти.

Потом Катя переполаскивала чашки.

— Катя, а что бы тебе девочек своих не привести когда? Я бы испекла пирог.

— Как раз одна и хотела пойти со мной сегодня.

— Кто?

— Любара.

— Которая медсестра?

— Нет, регистратор.

— А-а. Ну, и...?

— Она мне не нравится. Впрочем, так же, как и я ей.

— А вторая?

— Тоже.

— Так уж все и не нравятся?

— Не все, мама, но с этими я не дружу. У меня, вы же знаете, Галя есть, зачем еще?

— Так небось тяжело жить в одной комнате, если не ладите?

— Ладим, отчего же. Но живем каждая по себе. Нэля вот замуж скоро выйдет, уйдет от нас.

— И хороший парень? Или мужчина? Ведь она, помнится, с ребенком, ваша Нэля?

— Да. А парень хороший. Только замуж она за него выходит, как говорится, по расчету: и порá, и денежный. Никаких чувств.

— А может, не говорит вам?

— Да говорила. Сначала. И видно. У нее уже был такой один, на коленях упраскивал замуж за него, плакал даже, нас измучил тоже.

— И что?

— Ничего. Сказала, никаких чувств, а стало быть, зачем себя и его обманывать.

— Правильно.

— Да, — Катя составляла в навесной шкафчик посуду. — Но с нынешним женихом то же самое, кроме одного — денег. Нэле хочется дорого одеваться, хочется к морю каждое лето, она устала ходить в кино одна. Ее слова, мама.

— Да откуда же он такой богатый? Скупой, может быть?

— С Севера он приехал, к родителям. И экскаваторщиком работает, так что...

— Ну и что, — вдруг возражает мать. — Действительно, можно всю жизнь прождать и никого не дожидаться. Или в беду какую попасть. Вон у Верининой дочки — помнишь Людку? — ребенок ни с того ни с сего родился. Тоже ждала, перебирала, ездила, да вот и не нужна никому, вернулась домой на горе родителям.

— Какое же горе? — Катя вытирала руки и медлила поворачиваться лицом к сидящей у холодильника матери. — Ребенок, я полагала, всегда радость, как бы он ни родился. Что, — обернулась, — пойдем?

— Да, да, — мать сняла с себя передник (незнакомый, в синюю полоску), повесила на спинку стула.

Но когда они сидели на диване, когда уже исправлена была Катина ошибка в вязанье и поговорили еще о каких-то мелочах, мать вернулась к кухонному разговору. Осторожно, правда, но с явным уже беспокойством. Возможно, что-нибудь в давешней дочериной интонации ее насторожило? Сказала-то Катя о ребенке, а у какой матери сердце спокойно, если взрослая дочь не замужем и живет не возле?

— Катенька, но ведь ты понимаешь сама, — сказала она мягко, — как труд-

но такой женщине. А ребенку без отца?

И потянулся разговор, повязался — слово за слово, интонация к предположению, петелька за петелькой на спицах. Вывязывалось нечто смутное — на одних лишь догадках и сомнениях, а потому тревожное.

Вечер портился неотвратимо, теперь в любом случае — хоть продолжай, хоть прекрати — ничего уже не облегчится: недосказанность лишь более растревожит маму, а досказывать, а прояснить ее настороженность, бог знает чем вызванную, но безошибочную, — тоже ведь не обрадовать. И не потянешь за ниточку, не распустишь и обратно на клубок не смотаешь.

Друзьями они не были — мать и дочь. Не были, увы. Но все-таки что-то изменилось, когда год назад Катя ушла в общежитие. Было время подумать. И заметить в себе то, чего обе не замечали раньше или не считали нужным замечать, — оно, постоянное, а потому привычно-незаметное, терялось во вспышках конфликтов по разным поводам, мелким и не мелким. Терялось в той яркости проявленных случайных настроений какого-нибудь момента: сами-то улетучивались быстро, зато конфликты оставались.

И все это загромождало души, вытесняло либо даже ломало чувства более хрупкие, а расчистить столь обширные, многолетние завалы не хватало умения. Вдобавок казалось обем в правоте-то своей, что дело это — в первую очередь не ее. А потом казалось, что ничего уже не изменится, такое выпало несчастье.

И вот когда Катя решила с уходом — «Мама, так будет лучше», — когда пережито было это и освоено во всей неизбежности уже случившегося, тогда-то и оказалось, что, вправду, так лучше. Ведь те загромождения постепенно теряли грозные очертания и не натывались больше на них, не

запинались — оказывается, обнаружили другие проходы.

Однажды Катя увидела ее на улице — шла впереди, и Катя не стала догонять, не окликнула. Мать не несла тяжелых сумок, она просто шла — то ли туда, куда не хочется, то ли никуда. А она ведь шла домой. И, словно впервые увиденная так вот, со стороны, показалась такой немолодой, одинокой и...

В общем, мама она и есть мама.

Но Катя тогда долго не навещала — шла домой. Чувства чувствами, а все равно уход ее был неизбежен, расставание ничему бы, увы, не помогло.

— Подумаешь, письма! — кричала тогда мама.

Из-за писем?

Да, маме непременно хотелось — ну как и всю жизнь — знать, о чем пишут Кате и кто. Катя рассказывала. Маме хотелось подробней, с зачитываниями. Кате этого не всегда хотелось.

Мама улыбнулась, но сказала серьезно:

— Ты толкаешь меня на преступление: не будешь читать мне, сама прочитаю. Я тебя предупредила.

— Да! — вспомнила сейчас Катя, — я же письмо от тетушек принесла. Они очень забавно описали свое путешествие в зоопарк. А вам было такое письмо?

— Нет, — не сразу, рассеянно отозвалась мать.

— Я сейчас принесу.

Катя шла по комнате к двери, и ее нестерпимо тянуло оглянуться — шея напряглась до боли.

Потом вернулась к матери на диван, а та вязала по-прежнему, спицы мелькали, но лицо, рассеянностью помеченное, таким и пребывало.

Катя зачитывала письмо — мать улыбалась, но не как прежде, не как сначала. Или Кате уже мнилось?

— Мама, вы... чем-то расстроены?

Не ответила. Не услышала?

Но вдруг улыбнулась этой новой своей улыбкой:

— Ой, я и забыла тебе сказать. И как же это я забыла? Вот, прямо перед тобой, приходил Володька, привет просил передать. Я... не сказала, что ты не дома живешь. Но он и не спрашивал. Может, знает. — Вздыхнула: — Уж наверное. Поинтересовался только, замужем ли. Сказал, придет еще.

— Мама, а Зимины так и не переехали в Свердловск?

— Тут живут, — мать снова вздохнула. Знала, что о Володьке Катя разговаривать с нею не станет.

— Такой ферт, — потерянно добавила, однако.

— Что?

— Володька, говорю, такой ферт. И не женится чего-то.

— А-а, — ответила Катя. — Мам, а я, пожалуй, помоюсь.

— Конечно! Я сейчас.

— Еще чего не хватало, мама. Сама не барыня, сама приготовлю ванну.

— Ну, а я тогда постельное белье сменю. Мне нравится спать на твоей кровати, вот и сплю. Да, а какую же сорочку ты наденешь? Или есть с собой?

— Нету с собой.

— Хочешь с голубыми цветочками?

— Хочу.

Новое отвлечение подоспело кстати, и остаток вечера теперь, наверное, на том и завершится. А утром... Домашнее утро, может быть, и вправду окажется мудрее?

— Мама, а вы ложитесь, не ждите меня: я, пожалуй, часика два поплещусь — соскучилась по ванне. У нас-то в номере не понежишься — всегда очередь, всем надо.

Приняв поданную ночную сорочку, наклонилась и легонько, мимолетно коснулась губами материной щеки:

— Спасибо, мама, спокойной ночи.

Напористый шум льющейся воды,

веселье розового цвета кафельных стен — и вдобавок устойчивость тепла, вдобавок полная уединенность, дарованная нехитрым устройством накидного крючка!

Катя легла в воду и, расслабляясь, почувствовала, как сильно устала, — так сильно, что тело не осваивалось в новом состоянии, вновь и вновь напрягалось, и приходилось усилием воли опять расслаблять мышцы, шевелиться и выискивать более удобное положение, так и этак пристраивать голову на краю ванны.

— Катя? — вдруг окликнул через дверь мамин голос. — Катя?..

— Да, мама.

И уже знала, что нынешний вечер еще не завершился.

— Скажи мне, Катя, с тобой... ничего не произошло?

Но словно испугавшись, торопливо попросила, с надеждой:

— Уж ты скажи мне, доча, успокой глупую. Не знаю, что вдруг нашло на меня.

«Ох, мама, как же я могу одновременно и ответить, и успокоить?!» Тоска.

— Катя! Ты почему молчишь?

— Мама, простите, не могу я вас успокоить. Но если бы вы поняли, что сама-то я...

— Что? — тихо закричала дверь.

— Мама, я не понимаю, чем же это плохо — ребенок?

— А отец?! Отец хоть у него будет?

— У него прежде всего буду я.

— Господи-и-и!..

— Мама, да все хорошо ведь. Честное слово!

В словах можно увязнуть, а что слова? Самые общие. Лишь пометы на поверхности — так, заломленный сушок, зарубка, воткнутый колышек. Одинаковые над разным, которое в глубине.

— Но разве... поздно? — отчаянный вопрос повис очередной надломленной

веточкой, обозначив то, что весь вечер так старательно пряталось — и вот, обнаружилось.

— Не поздно, мама. Но я не хочу.

Да, и эти вот ровнехонькие словесные затесинки сделаны спокойной, казалось бы, рукой, по одному лишь прикосновению на каждую — просто прохожу мимо, минуя это место, не задерживаясь, не вглядываясь, но тому, кто следом, достаточно, чтобы увидеть: я здесь шла. Просто шла. А — какая шла?

За дверью тихо было.

Не уберегли розовые стены и этот беспомощно накиннутый крючок. Или — помогли?..

2

А ночью опять дождь пошел. Собственно, он и не уходил никуда, он лишь приостановился, чтобы собраться с новыми силами, и теперь, ливневый, обрушился на Катин подоконник, словно не дождь, а картофель из мешка: дробно и грохотно.

Катя отложила книгу и погасила свет. Села на кровати, подоткнула со всех сторон одеяло и — спиной к стене, лицом к заплывающему окну — стала смотреть и слушать этот ливень...

Прошлой осенью, в сентябре, картошку пришлось копать по дождю. Но выдался и ясный один, последний день. Конечно, все равно было грязно, и ноги облипали вязкой землей до устрашающих размеров, то и дело приходилось соскребать с сапог лишние фунты. Зато солнце грело, а бодро тянувший ветерок подсушивал поле и сгонял, комкая, обрывки облачных простыней в сторону, за горизонт. Все повеселели и даже перекликаться стали, а электрик Лева, подхватывая наполненные клубнями ведра, дурашливо заголосил:

Тили-тили,
трали-вали,
это мы не проходили,
это нам не задавали!

И потом процедурная сестра Лиля уже подыгрывала ему: когда Левы не оказывалось близко, а ведро пора опорожнить, она кричала:

— Антошка, Антошка, иди копать картошку!

И он капризно откликнулся:

Тили-тили,
трали-вали,
это мы не проходили,
это нам не задавали!

— Между прочим, так оно и есть: не проходили и не задавали, — ворчал потом, в обеденный перерыв, бухгалтер Семен Васильевич. — Совхозники могли бы и сами поспешать, а то дождались дождей.

— Мы тоже едим эту картошку, — возразила Лиля.

— Ну, у меня, положим, своя посажена, — уточнил Семен Васильевич. — А в этом селе я не впервые. И вижу, как здесь относятся к своему хозяйству.

— Но им же при всем желании самим не управиться, — настаивала Лиля.

— Да они и не пробуют! Вот не приедут горожане, а они и не свезут эту картошку. Уж перевидал, голуба, перевидал. И ничего, спокойно посмотрят вечером телевизоры и спать лягут.

— Но людей-то, действительно, им не хватает, я сама деревенская, тоже знаю.

— А в войну хватало? И, кстати, привезут нам сейчас хотя бы молока к обеду или нет?

— Правильно, правильно! — зашумели остальные, кто сидел поближе к спорщикам. — Чего ждем? И ты, Семен Васильевич, ждешь, а кого мы избрали ответственным? Тебя или нет?

— А как я попаду туда? Село-то вон где, далековато, да по грязи.

— Раньше надо было!

— Но ведь обещали нам? Обещали.

Обедать разместились группами, в пестролиственном, облетающем перелеске. Кто на чем: на перевернутых ведрах, на клеенках, на каком-то брезенте. Обедали, как всегда, своими припасами.

— У кого есть консервный нож? — кричала Любара. За ножом подошла к Семену Васильевичу. — Вон ты где, — сказала Кате. — Отделяешься? Айда к нам, мы со спиртовкой, Андронов захватил. Суп из консервной сайры сварим.

— Видите, — бухгалтер обратился уже к Кате. — А, спрашивается, нужно разве врачу ехать сюда? Семь лет его учили этому? Где он полезнее?

— Кстати, этот врач сам не против, — сказала Любара. — Есть, оказывается, и такие!

И потом, уже возвращая нож, опять позвала Катю:

— Пошли, пошли, Нэлка в тебе нуждается.

Катя дообедала, предложила оставшиеся помидоры Лиле, свернула свое полотенце и пошла.

Нэлка нуждалась в ней постольку, поскольку надо же ей было к кому-то обращаться, кого-то в тылах содержать, если рядом столь интересующий ее мужчина — Андронов Виктор Витальевич — и если этот мужчина, кажется, не слишком интересуется ею. Нужно было усилить свое воздействие!

— Катю-у-ша, ты почему отделилась? — она спрашивала, а голос вибрировал богатыми модуляциями, голос пел, выдавая непростой смысл простого содержания.

— Это вы отделились. Индивидуалисты: даже суп сварили. А все нюхали.

— Дело хозяйское, — хохотнула Любара. — Варили бы и вы.

— На чем? Костра не разожжешь — все сырое. Даже картошки, и той не испечь.

— Ка-а-тя, да не стой ты, не стой, не люблю, когда выше меня, — пела Нэлка, показывая Андронову точеный свой профиль.

Катя присела. Уж она сразу поняла, зачем понадобилась Нэлке, хотя они и не дружили. Но Любара-то давно не годилась в посредницы, ее Нэлка лишь вынужденно терпела, Катя же можно и поулыбаться. Чего, кажется, не требовалось, потому что не вове «этот мужчина» Андронов проявлял безучастность — это усмотрено было Катей тоже сразу. Да и почему безучастность? Одно то, что Нэлка не красилась совсем, уже привлекало взоры: женщина, которая не красится?! Допустим, Катя — тоже, но тут другое, конечно. Увы. И таким голосом Катя не обладала — у нее он самый немелодичный, даже с хриплинкой. Правда, Галя уверяла, что, напротив, такой голос своеобразен, есть в нем та необходимая доля пикантности, чтобы...

Стоп: это лишнее, к делу не относится.

А было так: Катя подошла, потом присела. Потом Нэлка с Андроновым отправились к ручью мыть посуду. Потом они вернулись. А солнце припарило, и Андронов снял куртку, повесил на рыжую боярышниковую ветку. Любара посмотрела на него и засмеялась:

— У врачей такие свитера?

— А что? — Андронов оглядел себя, похлопал по груди. — Свитер как свитер, только малость громом побитый.

Любара еще пуще засмеялась.

— Если починить некому, — сказал Андронов.

— Отдайте нам, мы починим, — вызвалась Нэлка.

Любара подмигнула Кате.

— В самом деле? Ладно, поедem домой, я его сниму.

Электрик Лева ходил по поляне и всех оглушал транзисторной музыкой.

А свитер чинила, конечно, Катя, потому как Нэлка не умела, да и не собиралась. Дома она только спросила:

— Катюша, как: выстирать прежде или прежде заштопаешь?

Потом Андронов пришел к ним. За свитером. Нэлки не было, ушла в кино с Любарой. Дома вообще никого не было, кроме Кати да Зины из соседей, Зина и открывала ему.

А Катя как раз занималась этой самой починкой этого самого свитера. Не заштопывала, но ввязывала протертые места — благо, нашлись подцвет нитки.

Ну, сначала — немая сцена, на мгновение, впрочем, потому что Виктор Витальевич замешательства, кажется, отродясь не испытывал, а также и других от него умел освободить.

— Ну и Нэлинька у нас, — сказал. — А еще просилась ко мне в кабинетные сестры. Только мне-то нужна сестра, чтобы работать, и такая сестра у меня есть.

Катя сидела, стиснув на коленях андроновский свитер.

— Да! а можно войти-то? — вспомнил спросить Андронов.

— Вы уже вошли. Если вы подождете минут десять, я сразу и отдам.

— Подожду. Даже двадцать пять. Сюда? — он кивнул на стул возле шкафа.

Минуты молчания Кате продлились нескончаемо, притом не знала же, куда он смотрит, не на нее ли, и, склоненная у стола, занавешенная распущенными волосами, подгоняла свои пальцы. А нитяной рисунок гляделся необыкновенно четким и крупным,

Катя словно впервые увидела тот рисунок и запомнила навсегда.

— Вы где у нас работаете? Я до совхоза, кажется, и не видел вас в поликлинике.

— В лаборатории я.

— У Ольги Петровны?

— Да.

— Что вы кончали?

— Новосибирский техникум фельдшера-лаборанта.

— А дальше не помышляете?

— Помышляю. Ну вот и готово, — повернулась к нему, но не встала: в халате мини была, неловко. — Теперь нужно бы штюпку прогладить через влажную тряпку. Сделать?

— Да нет, спасибо, уже сам, — он подошел, взял свитер, повертел. — Да здесь ничего не заметно, — хмыкнул.

— Чего не заметно? — улыбнулась довольная Катя. — Куда гром стрелял?

Андронов засмеялся.

— Я ваш должник, — и уже от двери поприветствовал пальцами: согнул, выпрямил, согнул. — До свидания, Екатерина-вторая.

Потом была случайная музыка. В кафе. Куда Катя забежала погреться. Что-то странное там проигрывалось, оно проникало в сознание исподволь. Катя сидела за столиком одна, бездумно жевала горячую пышку в сахарной пудре, запивая горячим кофе, и тепло, большое и уютное, мягко располагалось внутри, обволакивало, проникало собою пальцы.

Однако нечто и другое еще возникло, стороннее, не то предощущением, не то воспоминанием — о чем, о ком? При полном сознании обыденности внешнего, даже стойкой обыденности: все имеющиеся тогда житейские дела ничего особенного не обещали в ближайшем будущем.

В общем, просто случайная музыка, чем-то остановившая внимание.

— Добрый вечер.

Эти два слова выделились на об-

щем шумовом фоне голосов, посудного позвякивания,двигаемых стульев, той же музыки. Катя оглянулась — Андронов сидел за соседним столом.

— Здравствуйте, — ответила, вспыхнув. — Вы не знаете, чья это музыка?

— То же самое намерен у вас спросить, — словно удивился Андронов.

— Наверное, можно узнать у буфетчицы? — предложила Катя.

— А давайте не будем узнавать, — предложил Андронов.

«Давайте»... Он уже уходил. И не попрощался.

И мгновенно Катино настроение, поначалу никакое, но уже и окрашенное звуками этой музыки, испортилось. Будто пообещали что и забыли о том.

Дожевала ненужную пышку, медленно вытерла бумажной салфеткой пальцы и пошла выносить свою нечаянную скуку в холодный ветренный вечер, за высокие яркие окна кафе.

На тротуаре стоял Андронов. Катя запнулась, но... прошла мимо, будто не заметила.

Он пошел рядом.

— Знаете, — сказал, — такие вечера тянутся долго, я вышел и подумал: а почему бы не скоротать эти час-другой хоть бы с вами?

— Хоть бы? — переспросила Катя.

— Ну, в словах ли дело.

— Но у вас ведь нет другого способа объяснить себя.

— Верно, — улыбнулся Андронов, но от «хоть бы» не отказался.

Они уже метров двести отмахали, и Катя лишь тогда заметила свою скорость, да уже неловко было сбавлять. И еще заметила, как знобко ей, кофейного тепла не хватало.

— Разве вы спешите куда-нибудь? — спросил Андронов. — В кафе мне показалось, что нет.

— Просто мне холодно.

И тут кончился тротуар шоссейным бордюром, а рдьяное светофорное око остановило их пробег, только стайка свежесорванных ветром листьев не сумела внять предостережению и порхнула прямо под стремительные колеса.

Здесь, на перекрестке, особенно ветрено было, Кате пришлось придерживать, чтобы не сдуло, широкополую свою шляпу.

— Если дело лишь в холоде, могу предложить вам прогулку с легким подогревом.

— То есть?

— У меня неподалеку есть новая квартира, я туда еще не въехал, но могу показать.

— Чтобы позавидовала?

И снова пошагали, теперь не столь уже быстро — Кате нужно было до следующего перекрестка решить, соглашаться или нет, потому что от того перекрестка уже поворот к общежитию. Собственно, какие колебания? Коллега приглашает погулять. А ведь Катя уже давно...

— Я слышала, вы сами отделяете квартиру?

— Сейчас же практикуется это: люди на все согласны, лишь бы скорее. Мои соседи уже вселились.

— Это на Парковой?

— Да. Ну, так что?

— Пожалуй, соглашусь.

В конце концов, всякое начало всегда зачем-то ведь. Хотя бы и случайное.

Конечно, случай. Андронов и сам сказал, что это так. У него разлаживались отношения с главврачом поликлиники, а в тот день состоялся и вообще крупный разговор, почти ссора. Естественно, настроение было аховое, не для одиночества, и вот — кто первый подвернулся, того и окликнул.

Это уж потом он говорил, что судьба, она всегда случайна вроде, но так лишь кажется, потому что, по сущест-

ву, ничего еще про то не известно людям.

В тот вечер ему нужно было с кем-нибудь разговаривать, возможно даже — выговориться. Катя поняла это и слушала.

— Я-то рассчитывал, вот окончу институт, буду лечить как следует. А здесь ни того нет, ни третьего, ни... А где есть? В журналах? «Не приставайте, коллега Андронов, — говорят мне, — какое оборудование есть, такое и есть, не от нас сие зависит». А от кого, если не от нас?

Катя сидела на подоконнике, горячий радиатор грел ей ноги. А Андронов то сидел на табурете, единственной мебели в пустой, с недоклеенными обоями квартире, то вставал.

Слушающих, вероятно, меньше, чем говорящих, поэтому они всегда необходимы. И мужчинам — даже более. Не поэтому ли у себя во дворе Кате доверяли мальчишки? Володька называл ее своим парнем. С добавлением, правда: «Пока не выросла».

Был Володька старше Кати года на четыре. Сказал ей: «Когда вырастешь, я на тебе женюсь». В шутку, вероятно. А может, всерьез. Во всяком случае, к поздневечерним ее прогулкам, особенно летом, отношение проявлял весьма строгое, почти что как мама. И не только строгое, но иногда даже грубое. Деспотическое. Катя ненавидела его в те моменты и кричала, что нечего своевольничать, вымещать досаду на ней, если опять поссорился со своей девушкой. Но Володька все равно сгребал ее в охапку и нес сдавать матери. Вырываясь, Катя дрыгала ногами и щипалась, а он или смеялся, или шипел: «Вот противная, вот наказание-то». И сажал туфельным носком в дверь. Маму видение такое всегда шокировало до длительного расстройства. Сначала, увидев, немела, а после тонким голосом вопрошала: «Ты чего же хулиганишь, а?»

Володька опускал Катю на ноги и бежал, насвистывая, вниз по лестницам. На танцы, между прочим! «Нахал! — возмущалась вслед мама. — Бесстыжий!» Кате четырнадцать тогда было. И танцевал Володька последнее лето: осенью призвали в армию.

Да, с Володькой ей поневоле приходилось быть иной, чем обычно...

За дверью скрипнула половица, и Катя нырнула под одеяло. Спать, спать. Смотришь, и дождь, утратив последнего зрителя, прекратит буйство. Все, вжаться крепче в матрац и подушку, обернуться одеялом потуже, закрыть глаза и уйти в сон, как в прятки с собою сыграть. Уж хотя бы с собою, если не умеешь с другими.

Андронов Виктор Витальевич хотел ведь этого, то бишь прятков? Специально или нет хотел — не суть важно: главное — это было.

— Я, кажется, на нелегальном положении? — сказала ему однажды. И не стала ждать, что ответит, как выглядеть будет. Но на новоселье, разумеется, не пошла. А было все это еще на начальном, так сказать, этапе, когда — просто встречи и разговоры. Одни разговоры, и все.

Хотя, вероятно, не совсем и «просто»: разве степень значительности любых отношений вне работы, тех отношений необходимость определяет не потребность именно разговаривать, то есть когда есть о чем и зачем?

Поэтому-то, обладая «разговорами», Катя и могла потом не придавать излишнего интереса внешнему оформлению их отношений. Как есть, так и есть. И даже поименное обращение друг к другу оказалось непондобившимся — к себе ведь не обращаешься по имени. А тут и было нечто похожее: то ли узнавание своего в чужом, то ли наоборот — все равно.

Потом... Стоп. Никаких «потом». Совсе ни к чему. Воспоминания вред-

ны. Такие вот. Когда есть настоящее и оно требует безотлагательного внимания.

И сейчас Катя изо всех сил совлекала себя с круга воспоминаний, запрящая их себе, чтобы не закружило, не вымучило бесконечным повтором. Но одно все равно оживало, словно именно в нем вобралось все остальное: начало и конец. А свои слова оттуда, из того воспоминания, она и впрямь после повторяла себе, как заклинание: защищаясь и утверждая свое право на защиту.

Он тогда обидел ее в неосторожности мимолетного настроения? Или пошутил неловко? Или...? Какая разница — сказал же. Значит, думал так. Пусть и не все время, а лишь однажды — какая разница.

И если её сознание только силилось в первые мгновения справиться со смыслом услышанного, то чувствам уже ведомо стало, что свершилась беда. Телу, ставшему вдруг осязаемым и как бы распавшимся на отдельные свои части — вот руки, вот ноги, вот голова, вот туловище, — захотелось тотчас же, сию минуту, уменьшиться, уничтожиться совсем: чувства кричали ему о его нелепости, даже неприличии, и сковали своим криком.

Необходимо было ответить.

— Витя, я не знаю, зачем ты сказал мне сейчас это.

Голос сразу натянулся, потому что захотелось плакать. Навзрыд.

— Но я считала, что мне... не нужно было... притворяться. Я не знала, что меня нужно было... завоевывать. А тебе, значит, не понравилось, что — сразу...

Голос продолжал натягиваться: ни интонации поэтому, ни чувства, ни жизни в слове — одно лишь старание, как бы не оборвалась его струна.

— Не сразу, Витя. И когда ты, Витя, так пожелал, я...

Она держалась за его имя, уже,

впрочем, отдельное от нее самой. Имя теперь, хоть и чуждое, было чем-то вроде последнего пристанища.

— Витя, я ведь вообще не пришла бы сюда, если... Но ты не понял?

Только бы не расхныкаться, не удариться в «сцены». При голосе, позабытом от внутреннего напряжения, монотонном и бесцветном, произносимые слова тоже были бесцветно ненужными.

Она вышла из той комнаты, от того окна, в ту законную белесость все еще зимнего, хотя и март, дня. В тумане стили полускрытые здания и деревья, выплывали и растворялись снова автомобили и люди, а ноги ступали неуверенно и как бы невесомо: такой туман.

Недопроявленный фотоснимок — город того дня.

Потом... Снова «потом»? Ничего не было потом. Не пошла она больше к Андронову. А на записки в карманах пальто лишь смотрела — одни вопросительные знаки в две строчки, и все.

Разговор случился только однажды, во дворе поликлиники. Он уже не работал у них — уже в районную перевелся.

— В чем дело-то? — раздраженно спросил.

Катя повела плечом.

— И что было-то?

— Не знаю, — ответила легко. — Случайная музыка, что ли? — и шагнула. — Но ты, конечно, не виноват, — добавила, полуобернувшись. — Успокойся. Мы свободные люди, разве нет?

И улыбнулась. Чуть-чуть, мимолетно. Вообще непредвиденно легко все вышло у нее тогда во дворе, даже непонятно, как. Ведь более всего опасалась не выдержать, самой побежать, не то что откликнуться на зов! И, даже если оттолкнет, все равно остаться, и объяснять, и плакать, и потом снова прийти — пока недоразумение не растворится без остатка в пони-

мании того, что столь просто и ясно. Разве нет? Разве не ясно? Но вот же — нет, иначе бы торопливые крючки недоуменных вопросов не оцарапали небрежно вырванных из блокнота листков.

Только почему ей-то вопросы задает, а не себе?

Впрочем, записок в кармане больше не находила.

Но когда снился, она просыпалась и переворачивала подушку: пусть приплюснет тебе я! И не более того, не более, и удержаться на этом — главное.

3

Утром Катя перебирала книги в шкафу, прикидывала к своему настроению: какую же взять с собою? А потом прикидывать кончила — зачем, если прямо из детства смотрят незабвенные каверинские «Два капитана»? Катя обрадовалась бесстрашным и справедливым своим капитанам и больше не стала выбирать ничего. В общежитии еще и библиотечные книги лежали недочитанные.

Мать хлопотала на кухне — стряпала манты. Там же и завтракали, то есть уже «по-домашнему», не то что вечернее гостевое чаепитие. Отца не было.

— Теперь жди разве что к вечеру, забутылики, — махнула рукой мать. — А ты не уйдешь ведь сейчас?

— Нет, мама.

Динамик со стены передавал метеосводку на нынешний день и на ближайшие. Дождя не обещали, только облачность. Но — с прояснениями.

— Пора бы уж. На мичуринском все работы стоят.

— Может, сегодня сходим? — спросила Катя. — Что-нибудь подделаем. Дождя, — обернулась к окну, — вроде не будет, а?

— Сыро, Катя.

— Тогда я на днях забегу, да? После работы.

— Ладно, — согласилась мать. — Прочистим малину. Осенью не успели.

Сидит, вяло жует, а позабытые на лице заботы тремя вертикальными морщинками нахмурили лоб.

Опасаясь этой сосредоточенности, Катя искала и не находила, на что бы можно было отвлечь мамино внимание. А то ведь сейчас заговорит. О чем?! Вот сейчас, глаза уже ищут последнего разрешения себе, последнего толчка.

— Ой! — засмеялась Катя. — Какие сочные. Хоть нагрудничек надевай.

Мать улыбнулась.

— Это еще не совсем хорошая говядина, — сказала, — а то бы и сочнее.

Опять посуду мыла Катя, опять сидели рядышком на диване — каждая со своим вязаньем, однако одним опасением связанные. И опять материнские пальцы вдруг приостанавливали скорое шевеление спиц, а глаза упирались в невидимое препятствие. А Кате уже нечем отвлекать!

Но позвонили в дверь.

— Володька! — предположила мать и кинулась в коридор.

Катя удивилась: теперь, похоже, мама не только не противится, но почему-то даже хочет Володькиного появления?

А пришла соседка с нижнего этажа. Рассказать какую-то историю местной важности.

Катя ушла к себе. Села у окна и стала смотреть на улицу. Как хорошо, что соседка, вязать совсем не хочется.

А Володька может и не прийти вовсе, потому что, наверное же, мама принимала его вчера не теплее прежнего. Но вот обстоятельства изменились, что-то в жизни начало располагаться, маме сделалось страшно — и она на звонок кинулась, словно за спасением. Она, возможно, не только

готова забыть прежнее, но и забыла уже. За одни неполные сутки.

А ведь то, прежнее, тоже весной произошло. В апреле. Только-только лед на Оби тронулся, и льдины тесно, как намокшие облака на сегодняшнем, под ветром небе, неудержимо влеклись течением вниз. Вроде и оделась Катя обычно, когда побежала из дому — не топить, конечно! — но все равно простудилась. Вернулась домой уже больная. И тетушки уже дома были. Испугались... Письмо со стола уже — все «уже»! — убрано было, Катя это сразу отметила.

Катя заканчивала второй курс техникума, жила у тетушек, а полгода назад, осенью, вернулся с флота Володька. Они, можно сказать, и не переписывались, пока он служил, — так, несколько писем да открыток к праздникам. Но когда провожали его, он весело сказал, при всех: «Смотри, Катюха, замуж не выскочи — я сам на тебе женюсь», и пальцем погрозил для пушей строгости. Все засмеялись: шутник этот Володька.

Но, демобилизованный, прибыл тотчас в Новосибирск. В гости к Кате. «Все в порядке?» — спросил строго, не сомневаясь, впрочем, что, разумеется же, в порядке. Катя вопросу удивилась. Тогда Володька рассмеялся и сказал, что он пошутил и пусть-ка лучше Катюха покормит с дороги доблестного моряка. Тетушки сделали круглые глаза.

Володька наезжал через воскресенье, и они ходили то в театр, то в филармонию, то в цирк — в зависимости от настроения. Или гуляли. Все было спокойно, просто и весело.

Почему теткам он не понравился? Началась энергичная кампания против доблестного моряка: в Новосибирске — тетушками, дома — мамой. «Думаешь, он из-за глаз твоих красивых ездит?». Ерунда, и внимания, конечно, не стоило.

Но потом оказалось позабытым на столе мамино к тетушкам письмо. И читать Катя не стала бы, не мелькни Володькино крупное имя. А может, прочитала бы все равно: лежит в открытую и от мамы. Может, даже специально оставили: вдруг что-нибудь срочное?

Мама писала, что живет в тревоге за неразумную свою Катеньку, ведь Володька — тот еще ловелас, а после армии и подавно, опять спутался с Валькой из промтоварного, та ради него даже мужа прогнала: как-никак, а старая же симпатия. Ну, и все такое подобное.

Вальку Катя помнила, гулял с нею Володька до призыва. Так что сомневаться вроде не в чем. Да и почему бы, спрашивается? Мама убедительнейше просила тетушек, сестер своих, ни слова о том Кате не рассказывать. Ни слова. Авось сама увидит, когда приедет летом, сама разберется. А ему что, калачу тертому? Нагуляется вволю, покуда учится Катенька, тогда и жениться можно на ней, молодой и глупенькой!

Когда Катя заболела, да опасно так, что в больницу попала по «скорой», младшая из тетушек, тетя Даша, плача, покаялась в грехе: послушались де Лену, мать Катину, и сделали, как велела в свой предыдущий приезд: получают от нее такое письмо — пусть Катя прочитает «нечаянно». Но ведь не из зла же, господи!

Тетя Даша едва не навредила Кате вконец: выздоравливать сил душевных не оказалось совсем.

Володьке она нацарапала письмо. Записку. Глупую, детскую. Чтобы никогда больше... Чтобы с Вальками своими... Чтобы... Противно.

Володька, оказалось, уехал очень скоро. Катя еще в больнице лежала с той пневмонией.

Лежала вялая и пустая. Исколотая. Пропитанная антибиотиками. И все

же выздоравливала, хотя и медленно. Температура падала, ртутная стрелка все чаще и чаще послушно замирала у красной точки, уже робея проскакивать в запретную зону, — вроде нетерпеливого, но уже прирученного звярюшки, распластанного у порога.

Примерно через полгода Володька прислал письмо. «Я знаю, — писал он, — ты средним человеком не будешь: или хорошая, или плохая — серединка не для тебя. И я в тебя верю. Лет через десять я все равно разыщу тебя и посмотрю, какая ты стала. Но если тебе понадобится моя помощь, если почему-либо придется плохо, я всегда приду, только позови».

Письмо, оставившее в памяти нечто большее, чем было в их отношениях: такое, что и, утраченное, остается нетронутым, но осознается не сразу. Сразу она только о своем письме пожалела. Не о разрыве, нет — именно о своем глупом и нечестном письме. Нечестном потому, что чувства были другие, ни от каких Валеков не зависящие, а превыше всего — та незаметная усталость долгого сопротивления, на пределе которой и настигла болезнь, ослабив и опустошив новой усталостью, уже телесной. И не находилось в себе опоры никакой, а нашлись чужие слова.

Впрочем, изменить что-либо ей и потом уже не захотелось. Нечем было захотеть. Думала, такой и останется. Но появился в жизни Андронов, и она обрадовалась перемене: нет, не останется такой, не осталась!

А о Володьке думала сейчас — и ночью — чуть ли не впервые с той самой поры. Думала спокойно и грустно. И очень издалека: Володька был совсем из другой жизни. Он, конечно, мог измениться тоже, как изменилась она сама, но все-таки десяти лет еще не прошло, чтобы встретиться им. Хотя ей вдруг и захотелось встретиться и поговорить. Просто так. Хотя бы

о погоде. Хотя бы и ни о чем. Но о чем-нибудь — тоже. Только уж, конечно, не поплакаться в жилетку — то ее письмо к нему лишало права на это.

Но можно было спросить: как же угадал ты, Володька, приехать в самое трудное мое время? Помогать, что ли? Уже помог: сижу и вспоминаю тебя да себя другую — уже отвлеклась. От-влеклась...

А влеклась *туда*, конечно. Правда ли, придет? И о ней спросил? Сейчас — без четверти полдень...

Соседка ушла, и Катя охотно и деловито, отстранив маму, занялась приготовлением обеда.

— Ну, а мне-то что делать?

— А что бы делали, если бы обед уже готов?

— И я одна дома?

— Да.

— Не знаю. Может, спать легла б.

— Вот и пожалуйста.

— Да нет, при тебе не смогу.

— Ну, не надо. Садитесь вот, и поговорим о чем-нибудь.

Опять Катя непредвиденно легкая была, почти веселая, и маме присматриваться вроде не к чему. Уж не ошиблась ли она, мама, со вчерашними страхами?

— Мам, а я в институт поступать хочу. Уже готовлюсь.

— Какие ж там занятия, — вздохнула мать. — Тишины небось не бывает?..

Дольше трех часов воспитанные люди не гостят. Андронов Виктор Витальевич, безусловно, воспитанный человек. И Катя возвращалась в общежитие уже не бегом — куда выбежишь-то? Некуда. Все решено, все в порядке. Пусть все движется своим ходом. Веселее не стало, легче не стало, но хотя бы посвободнее немножко. Хотя бы на пока.

Она вошла в будку телефона: не вернулась ли из отпуска Галя? Сна-

чала автомат не сработал, и двущка выскочила обратно, потом Катя слушала гудки.

— Девушка, — заглянул в кабину парень, — если вы мне звоните, то меня дома нет.

Катя повесила трубку.

— Я уже убедилась, что вас нет дома.

— Позвоню-ка я сам, — сказал веселый парень. — Может, отыщусь?

— Все может быть, — согласилась Катя.

— А вы подождете меня?

Она покачала головой и пошла дальше. Отметила новую вывеску на аптеке, вчера не увиденную, и что деревья подстрижены, тоже раньше не видела. Это ее огорчило — подстриженные деревья: ну, зачем?

А люди шли нарядные и все разные такие: весна. Катя вспомнила, что можно брести по улице и разглядывать прохожих — и это будет интересно. Вот, например, эта женщина...

«А если он *только меня* хотел видеть?!» — горячий толчок прорвавшейся мысли, до того к восприятию не допускаемой, мгновенно изломал ровную линию Катиного нового настроения. И дальше шла, опять уже отдельно ото всего и ото всех, со взглядом вовнутрь. Выравнивала линию!

В самом деле: что-нибудь дополнительно утрачено разве? Если хотел ее видеть, ее отсутствие ничего не изменит, даже напротив — он не остановится на одном визите. А если визит случаен, ее отсутствие тем более необходимо. Так что — все правильно. Посмотри, какой длинный шарф у юной модницы — ниже колен. И как нетерпеливо-радостно вышагивает первые свои земные расстояния румяный малыш, как натягивает мамины страховочные постромки, продетые под рукава синего комбинезончика. Всю жизнь теперь шагать — ни пуха ни пера!

— Ну, наконец-то! — на дверной щелк выскакивает в коридор Любара.

— Здравствуй, — говорит Катя.

— Андронов нас умучил! — свистящим шепотом, к шепоту не привыкшая, пожаловалась Любара. — Сидит и сидит, ничего не понимаю. Сперва думала, к Нэлке он. Нет — как со мной, так и с ней. А Гриша тоже пришел, Нэлка нервничает, рада бы Гришу сплавить. У них билеты в кино, мне тоже пора уходить. Прямо не знаем, что напало на него. Но не выгонять же? Вот ты и принимай дежурство. Может, уйдет.

Катя раздевалась, медленно и обстоятельно. Переобулась в тапочки.

— Но с ним интересно. Ты куда?

— Я сейчас, — Катя прошла в ванную, набросила крючок.

А сразу туда — к ним, к нему — не смогла бы, конечно: опять тошнота подступила, но то ли вчерашняя, то ли обычная. При внезапных встречах с Андроновым ее всегда подводили слабые нервы, и ничего с собою не поделаешь. Некоторое время приходилось выжидать — тихонько и смиренно, извиняясь страдальчески-слабой улыбкой, испуганно раскрытыми глазами, пряча за спину или в карманы захладевшие руки. Такая вот ненормальность, такой стыд. Андронов не замечал поперву, потом удивлялся. «Отомри», — говорил.

Катя осторожно, боясь лишнего жеста, присела на край ванны. Отворенная вода с фырчаньем вырвалась из крана и суетливо билась на дне, у сливной решетки. Господи, какой ужас, какая противная дура!

Но бессильное сознание тоже билось, только впустую — тут не его владения.

В комнату она вошла под Любарин возглас:

— А вот и наша Екатерина-вторая.

Катя поздоровалась и прошла к окну, там, к счастью, свободный стул

стоял, можно сесть и в стороне и спиной к свету.

А все — да, видно было, что истерпаны общением, но более всего недоумением: собрались вместе, а зачем? Нэлка — и впрямь нервничала — сидела, от своего Гриши отвернувшись, и, кажется, одна старалась оживить угасшую беседу.

— Сейчас Катя нам почитает стихи! — обрадовалась она новой возможности. — Катя, правда-ведь? Ахматову, Катя!

Гриша пошевелился, но не возразил и даже опущенных долу глаз не поднял. Так и сидит все время нахоженный и молчаливый? Да, только Ахматовой ему сейчас и недостает! Вот как и Кате тоже. Ну, например: «Сжала руки под темной вуалью. — Отчего ты сегодня бледна?»!

— Нет, — сказала Катя, — давайте уж без меня.

— Почему?! — огорчилась Нэлка.

— В самом деле — почему? — заговорил Андронов, и Катя только сейчас взглянула на него.

— Но без настроения стихи ведь не читаются.

— Жаль, — сказал он.

— И, как назло, у нас магнитофон забрали! — уже не впервые, видимо, подсадовала Любара. — Катя, это в двадцатый день рождения отмечают.

Катя кивнула.

А разодеты все в пух и прах. Любара шеголяет в новом платье до пят, на Нэлке кремовые праздничные брюки, покачивает, нога на ногу, лакированной туфелькой. И на Андронове ни разу еще не виденный бахромчатый жилет фабричной вязки. А на Грише цветастый широченный галстук.

Ага, заговорил Гриша:

— Нэля, мы идем в кино или нет?

Нэлка поморщилась, но тотчас же и рассмеялась.

— Да, мы идем, да, — и встала немножко резко.

Гриша вышел первый.

— Виктор Витальевич, в июне к нам на свадьбу, — сказала Нэлка.

— Спасибо, приду, — вежливо ответил Андронов.

Нэлка вышла. А Любара попросила:

— Не оглядывайтесь, Виктор Витальевич, мне в шифоньер надо.

— Может, мне выйти?

— Конечно, выйти, — сказала Катя.

— Нет, нет, я только платье достану! — Любара похватила с плечиков белье и платье и ушла переодеваться в ванную.

Андронов посмотрел на Катю.

— Ну, здравствуй, — сказал, как спросил.

Катя пошевелила плечом. Смотрела на андроновское отражение в темной полировке столешницы.

— Мне приснилось, что ты хочешь меня видеть и что-то сообщить. Я пришел узнать, что. Итак — что?

— Не выдумывай, — сказала Катя. — Ничего тебе не снилось. Ты снов не видишь.

— Так не бывает, — возразил.

— Ну, не помнишь.

— В каждом правиле бывают исключения.

— Это что, в порядке медицинской реабилитации? — спросила Катя.

— Не понял.

— Ну, твой визит сюда.

Андронов составил пальцы к пальцам, поигрывал ими на столе. Молчал. Вернулась Любара.

— Я за сумкой, ухожу.

За спиной Андропова соорудила Катя гримасу — верх недоумения: дескать, ты-то хоть понимаешь, в чем дело?

— Все, ореуар. Да, Катруся, обеда сегодня нет.

Катя кивнула.

Любара, уже выйдя, вдруг заглянула снова, будто вспомнила что, будто лишь сейчас осенила догадка, и несколько удивленно поглядела сначала на Катю, потом на Андропова. Дверь прикрывала медленно, как бы с запоздалым сожалением.

— Ты больна? — спросил Андронов.

Катя почувствовала, что краснеет.

— Почему? — спросила. — Я плохо выгляжу?

— Нет, но... болезненно. Посмотри на меня, — попросил он. — Пожалуйста.

Она смотрела на его отражение в столешниковой полировке.

— Я устал, — сказал Андронов. — Пойдем погуляем?

— Не хочу.

— Почему?

— Только что с улицы.

— Ты со мной не хочешь? — уточнил он.

Она не ответила.

— Ладно, — согласился, — посидим здесь.



Александр Ибрагимов



ЕСТЬ У ВЛЮБЛЕННЫХ СВОЙ ЯЗЫК

Возможна ли еще любовь
Душе усталой и безвестной?
И сердце замирает вновь
Над ослепительной бездной.

И взгляды верные друзей,
И уговоры — бесполезны,
Когда ты снова вместе с ней
Лишь на мгновение от бездны.

И шаг... и оборвешься ты,
И вновь узнаешь в миг паденья
И первой робости цветы,
И откровенность наслажденья.

Целомудренны голые рощи
На снегу... в предпоследних холмах.
Имена с каждым днем все короче
У деревьев и на губах.
И стыдливые гнезда... между
Обнаженных стволов берез.
Птичью радостную одежду
Теплый ветер в поля унес.

И уже не видно под нами
Нашу тень... — одну на двоих.
Это чудо: дрожа губами,
Пить молчанье из губ твоих.

Без тебя

Еще не коснулось людей,
Но во дворах без утайки
Срывались с ребячьих ветвей
Июньские легкие майки.
Холмами вздувались пруды,
В лопатках предчувствуя холод.
И облако, встав на дыбы,
Уже осыпалось на город.
Журчалки кусты и трава,
Катились камнями птицы...
Несло под обрыв острова
И скомканные страницы.
Взлетев, гроыхали дымы
Над крышами деревушек.
...И звезды катились из тьмы
Обломками побрякушек.

Любимая, как дни простоволосы...
Как наши души снова далеко...
Какое небо... Как горят откосы...
Как тихо нам... И как до слез легко...
Как ясно нам... Как до озноба ясно...
Рукой касаясь, не произнести...
Как задохнуться... Как вздохнуть опасно...
Как вымолвить... Как вымолвить «прости»...
И как мы любим... Как среди деревьев
Проходим мы... Ни живы ни мертвы...
И платице твое из птичьих перьев
Вспорхнувшее... Как прежде из травы...
Как вечны мы... Как мы необходимы...
Как невозможно взгляды отвести...
Как дни простоволосые любимы...
Как жизнь прожить, чтоб вымолвить «прости».
Как никогда не повторится снова,
Что в душах повторить своих вольны...
Над безднами сияет это слово,
Которое не вымолвили мы.

Не прикоснусь я глазами
к любимой,

Не прикоснусь,
Как прикасается к дереву иней,
К облаку — куст.

Как прикасается свет к изголовью,
Губы к рукам.
То, что вокруг называют
любовью, —

Не передам.

Птица такая есть — пересмешник —
Тайна моя.

Не прикоснусь, словно к снегу —
подснежник, —

К телу ея.

Не прикоснусь... Нежной розой
признанья

Не уколую.
Бог — это ласка неприкасания —
Вот и люблю.

Неприкасаемо, неизъяснимо
Нас берегут.
Я не сорву твое светлое имя
Возгласом губ...

Юрий Моренис

СКАЗКИ ГОРОДА



Вступительный аккорд

Эти сказки придумал не поклонник Города. Незачем поклоняться, если Он всегда выше. И даже из окна троллейбуса — на полметра над прохожими — нельзя посмотреть на девятиэтажки свысока. Попробуй высвистнуть свою Кассиопею с какого-нибудь седьмого-одиннадцатого — куда там! — Шляпа упадет. Свист, он не вверх, он вдоль. Можно и вниз, как Соловей-Разбойник с дуба. Но дубов в Городе нет, и Соловей-Разбойник не герой моих сказок.

Впрочем, и сказки-то не мои. Они Его. К чему сочинять, выдумывать, надрываться, если все, что я расска-

зываю вам или тебе, рядом со мной — это Город. Он наговорил, нашептал, прошелестел, намекнул, подтолкнул локтем все истории, которые вы или ты рядом со мной сейчас слушаете.

Они всюду. В булыжнике, в телефонном разговоре, в рекламной вывеске, в электрическом столбе... Или хотя бы, например, вон в том окне. Оно очень долго не гаснет, даже когда фонари потушены. И издали кажется точкой сигареты. В этом месте Городу не спится. Он задумался и закурил. Можно подойти и попросить огоньку. Что-то сказать. Он скажет в ответ. И скажется сказка...

Воспоминание о понедельнике, или сказка о мамонте

...А потом наступает утро и надо вставать. Если за Городом мы просто рано встаем, то в Городе приходится рано вставать. А тут уж не до хорошего настроения. Обвиняя во всех

своих грехах будильник, наскоро завтракаем, сбегая по лестнице, поднимаем воротник и сквозь туман, мороз, и черт те что влезает в троллейбус, не видим ничего, ничего не замеча-

ем,— даже тот же троллейбус,— лишь бы согреться, лишь бы добраться до тепла...

Вы думаете, я буду — о троллейбусе?..

В картинной галерее обычно выходной день — вторник. Но иногда, раз в месяц или раз в два месяца, бывает еще и понедельник. Это когда снимают выставку. А в среду уже открывают новую. И снова много народа, снова речи, красные ленточки и так далее. Цена билетов та же... Но я — и не о среде. Я вспоминаю понедельник.

Художник пришел очень рано и был один. Он любил сам развешивать и убирать свои картины, как в беседе с близкими друзьями, где лишние свидетели не нужны. Он думал управиться в короткое время, потом позвонить в фонд, чтобы прислали машину, и все увезти. Правда, кое-что из экспозиции оставалось в запасниках галереи, но это все равно надо было снимать. Художнику пришла мысль позвонить кому-нибудь, чтобы помогли, но он вежливо улыбнулся ей, как совершенно посторонней. Вчера было закрытие выставки, и звонить бесполезно.

Вообще-то художнику полагался подручный рабочий картинной галереи Паша, но он что-то запаздывал.

Раньше Паша был рабочим в магазине «Гастроном». Он там таскал мешки с мукой, с сахаром, бидоны с молоком, пакеты с печеньем и всякие ящики, в том числе и с вином. Потом Паша решил бросить пить, жениться и стал искать трезвую работу. Картинная галерея находилась как раз напротив «Гастронома», и он поменял квалификацию.

Сейчас Паша по старой памяти (прошло уже две недели) зашел на прежнюю работу и помогал бывшему коллеге Захарычу разгружать машину с колбасами. У коллеги Захарыча

дрожали руки, и он опохмелялся в полном одиночестве.

— Ну, а ты? — пригласил он Пашу.

— Не... Я не буду. Мне на работу идти...

— Ну и как оно? — поинтересовался Захарыч, нимало не огорчаясь, что бутылку «яблочного» придется давить одному.

— Нормально. — Паша в это время отряхивал пальто. — Там же картины всякие. На стенах висят. Но сейчас особенные... Я не видел раньше, тайга...

— Тю! — сказал Захарыч. — Еще чего?! Взял пузырь, сел на бережок и любуйся.

— Нет, — возразил Паша, — с березка она вся одинаковая. Ели да сосны. А там другая. Разная. Веришь, я и не знал, что такое бывает.

Захарыч сразу почувствовал, что его бывший напарник заговорил как-то по-другому, почти не матюгаясь. Но смеяться не стал, а даже поставил начатую бутылку и попросил:

— Своди по знакомству, Паш.

— Так мы уже снимаем эти картины.

Захарыч прищурился:

— Что? Мура какая?

— Да нет, — засмеялся Паша. — Они ж меняются, выставки: одни картины снимаем, другие вешаем.

— Тож про тайгу?

— Я не знаю. Еще не видел. Вот когда привезут... А художник, ну чьи картины сейчас висят, парень свой...

— Художники, они пьют, — знающе сказал Захарыч...

— Да нет. Я только чай с ним пил.

— Ишь ты, — уважительно кивнул работник торговли. — Ча-ай.

...Художник сидел на верху раздвижной лестницы и смотрел на свою самую большую картину. Она заканчивалась где-то у края земли. Конечно, картина была от стены до стены,

но там, в глубине, горизонт казался недостижимым, как на самом деле.

Лестница чуть покачивалась, и художник вспоминал, как он делал эскизы для этой картины, как взобрался на отвесную глыбу и, стоя на самой-самой высоте, писал с непроходимым чувством головокружения.

Тогда ему показалось, что он видит мамонтов. Или одного мамонта. Другой пока ушел. А так они были все время вдвоем. Он и она. По утрам мамонт доставал из-за горы длинным хоботом солнце, и они вместе принимали теплые воздушные ванны. Им было хорошо: вот так греться и ни о чем не думать. Но однажды мимо них прошли люди с рюкзаками, и они пели песню про тайгу.

«Странно,— сказал тогда мамонт своей подруге,—зачем петь про то, что есть. Надо петь о том, чего нет, и о чем можно мечтать». «А о чем мы мечтаем?»—спросила она. «Ну как о чем?—удивился мамонт,—о доме!» «А что такое дом?» «Ну, дом,—медленно ответил мамонт,—это где тепло. Где нет дождя. Где не надо прятаться». «А где же бывает дом?»—снова спросила она. «Я слышал,—сказал мамонт,—что дома бывают в Городе». «Давай придумаем песню о Городе»,—предложила она. «Давай,—согласился мамонт.—Хотя я не знаю точно, что такое Город, но о нем хочется петь».

И они сочинили песню о Городе. Если честно разобраться, таких Городов нет. Может, когда-то будут, но сейчас в их песне Город очень смахивал на солнечную утопию древнего философа Кампанеллы.

Но мамонты сами были из еще большей древности, чудом выжили, и их можно простить.

И вот как-то утром она ему вдруг сказала: «Сережа, я сегодня во сне видела Город. Может, он и правда вон за теми горами. А? Сходи. А я приготовлю завтрак».

И мамонт пошел. И правда—увидел Город. Морозный, туманный и очень громкий, он показался мамонту даже больше тайги. Мамонт испугался, он было кинулся бежать и никогда впредь не петь песню о Городе, как его вдруг спросили: «Вы по какому маршруту?» «Не знаю»,—растерялся мамонт.—«Тогда поехали по седьмому до ЖБК».

Мамонт не понял, что такое «жебека», однако поехал. По пути садилось и сходило много людей, и никто из них не понял, какой странный троллейбус идет сегодня по седьмому маршруту. Было очень раннее утро, был сильный мороз, туман и нелетная погода...

— Да-а!—вдруг услышал художник. Он посмотрел вниз и увидел рабочего картинной галереи Пашу. Тот сидел на ступеньке раздвижной лестницы и курил.

— Привет, Паша!—обрадовался художник.

— Привет,—ответил Паша.—А я давно здесь. Смотрю, вы молчите. Вот и я молчал.

— А почему ты сказал «да-а»?

— Вырвалось это у меня. Картина хорошая.

— Ну хорошая—не хорошая, а снимать надо.

— Жалко,—сказал Паша.—Но дома я бы ее не повесил.

— Квартира мала?—улыбнулся художник.

— И квартира мала, и жениться хочу.

— А при чем здесь картина?

— Да не выдержал бы я дома при ней. Голова кружится. Ушел бы.

— Ушел бы?—совсем удивился художник.

— Ага. Вот такую же тайгу искать. Особливо камень вон тот. Как зверь живой... Мамонт... Знаете, слоны раньше были, в древности.

— А зачем тебе этот слон, Паша?! — взволнованно спросил художник.

— Потрогал бы...

— Паша, — вдруг сказал художник. — За сколько мы снимем все картины?

Паша прикинул:

— За час, ну полтора.

— Я думал, за три.

— Нет, за полтора.

— Тогда сгоняй в гастроном.

— Я же бросил.

— Насовсем?

— Да нет. С вами можно. Вы не Захарыч.

— А кто такой Захарыч?

— Да так, приятель. С полбутылки лыка не вяжет. Не поговоришь с ним.

— Паш, — художник указал на картину, — это действительно мамонт...

— Я и говорю, мамонт, — сказал Паша и ушел.

...Это мамонт, — продолжал думать художник, — это она. Каждое утро печет для своего мамонта оладьи, мурлыкает песню и очень довольна, что ее муж работает в Городе троллейбусом.

Потом пришел Паша...

Но это не так интересно...

Сказка о танке

В Городе, в любом Городе, как в человеке, есть свои «секретные» предприятия. Я говорю: как в человеке, потому что в человеке подчас тоже что-то болит, и он не знает, где.

И в одном Городе, за домом снадписями «Булочная» и «Рыба», что издавека читалось «Булочная рыба», находился небольшой заводик оборонного назначения. На нем делались танки. Совсем немного танков, всего несколько в год.

Собирали танки люди в белых халатах и при полной тишине, чтобы не нарушать секретность и некоторую таинственность своей работы. Только иногда — об этом знали рабочие второй смены — из административного корпуса слышна была виолончель. Это директор завода играл свой любимый «Сентиментальный вальс» Чайковского: в юности он мечтал стать музыкантом, но не прошел по конкурсу в консерваторию. И тогда во дворе особенно пахло морем и сдобными булочками.

Так я начинаю сказку, нет не о музыке — о **ТАНКЕ**.

Однажды с конвейера завода сходил

очередной танк. Событие не столь частое в производственной жизни предприятия, и все рабочие собрались в цехе приветствовать свое новое детище.

Танк сошел с конвейера и тут же остановился. Под неслышные аплодисменты собравшихся он двинулся дальше, но совсем немного, и снова замер. Как будто споткнулся. Он растерянно задвигал своей башней из стороны в сторону и неловко замотал своим длинным стволом, словно стеснялся его и хотел спрятать куда-нибудь под крыло.

Люди вокруг засмеялись.

— Смотрите, — говорили они, — какой странный танк получился у нас на этот раз. Можно сказать, нелепый, как «Булочная рыба»... Давайте его так и назовем — Булочная рыба.

В те времена танкам давались имена, как пароходам.

Но неожиданно из кабинета директора донеслись звуки виолончели, и люди замолчали. Вначале директор из своего окна тоже улыбался вместе со всеми. Но неловкость нового танка напомнила ему собственную молодость,

вступительные экзамены в консерваторию, и он загрустил.

Директор отошел от окна и достал из гардероба виолончель. Ему казалось, что его тайная страсть никому не известна. Он тронул струны и подумал: «Ишь ты, как они забавно называли этот танк. Булочная рыба. А я сам разве не смешон: оборонщик-виолончелист...»

А в это время новую машину уже укутали брезентом, погрузили на платформу и куда-то повезли в полном неведении.

В полном неведении, потому что танк может узнать о себе, что он танк, только на полигоне. Это, знаете, такое огромное поле, и по нему все гоняют и гоняют. Вот когда танк по имени Булочная рыба понял, кто он такой. Понял и ужаснулся. Его-то в основном собирали во вторую смену, под «Сентиментальный вальс» Чайковского, и танк думал, что из него делают швейную машинку. Он мечтал о том, что, когда его выпустят, он будет шить платица с кружевами для маленьких девочек. В его еще тогда не достроенной башне рождались узоры и модели, рюши и кокетки, бантики и оборочки... А сейчас в него всовывали тяжелые снаряды и заставляли куда-то стрелять. Вы представляете, что творилось с танком?

— Да,—говорил лейтенант,—неважная машина.

А товарищи его поддерживали:

— Одно слово — Булочная рыба...

Танку было совсем плохо. Возвращался он с полигона всегда последним, шлепая, точно свинцом, налитым, гусеницами и уныло повесив ствол. А однажды его вообще забыли где-то у мишеней. Так он и стоял одиноко, придумывая очередное платице, но уже отделанное пулеметными лентами. «Тупею,—невесело подумал Булочная рыба,—глупею».

И тут он увидел мальчика. Тот стоял

у дерева и осторожно рассматривал танк.

Мальчик, видимо, побаивался.

— Подойди ко мне, мальчик,—сказал Булочная рыба.— Не бойся.

Мальчик чуть вздрогнул. Он не знал, что машины разговаривают. Однако к танку приблизился.

— Здравствуйте,—вежливо сказал мальчик.

— Здравствуй,—обрадовался танк.— Здравствуй. Как тебя зовут?

— Юра,—сказал мальчик.— А у вас есть имя?

— Есть,—ответил танк.— Меня зовут Булочная рыба.

— Какое интересное имя!—удивился мальчик.— Совсем как у индейцев.

— И тебе, правда, не смешно?—спросил танк.

— Нет, конечно,—сказал Юра.— А вы настоящий танк?

— Настоящий,—вдохнул Булочная рыба.

— Вот здорово! Я, когда вырасту, обязательно буду танкистом!

— Зачем?—грустно спросил Булочная рыба.

Юра удивился, ведь танкисты такие красивые в своих шлемах.

— Чтобы быть таким же сильным, как вы. У моего папы есть машина «Москвич», так, знаете, как он классно ее водит?

— Вот и ты води машину.

— Но машина часто бьется. Папа, знаете, сколько раз ее чинил. А вы не бьетесь. Да?

— Не бьюсь,—опять вздохнул танк.

— А почему вы все время вздыхаете, Булочная рыба?—спросил Юра.

— Я вздыхаю потому, что я не хотел быть танком. Я хотел быть швейной машинкой.

— Ну-у,—разочарованно сказал Юра.

— Нет, нет, Юра,—заторопился Булочная рыба,—швейной машинкой быть очень хорошо. И притом она мо-

жет строчить гораздо быстрее, чем пулемет.

Юра был добрым мальчиком, он понял, что танк очень расстроен, и ему безумно тяжело.

— Булочная рыба,— сказал Юра,— а вы смогли бы сшить брюки? Я очень люблю брюки, а мама заставляет меня носить короткие штанишки.

— Н-ну,— смущенно сказал танк,— я ведь в некотором роде дамский мастер.

— Ну и что? Сейчас почти все девчонки ходят в брюках.

— Но как это сделать? Я ведь все-таки танк.

— О, не беспокойтесь, Булочная рыба. Мой папа, знаете, какой мастер. Он вас быстро переделает. А мама вам даст выкройку.

— Хорошо!— Чуть не подпрыгнул от удовольствия танк.— Пошли к твоим маме и папе!

— Только вот что,— сказал Юра,— можно, я к вам привяжу веревочку, чтобы мама сразу не догадалась, что

вы настоящий танк. А то она испугается.

Булочная рыба согласился, и они пошли. Юра — впереди, а танк на веревочке сзади.

...Это было давно. Очень давно. Папа не переделал танк, а мама не дала ему выкройку. На другой день за танком пришел лейтенант и увел его далеко-далеко...

Юра вырос. Им оказался я. В институт не поступил и пошел в армию, в танковые войска. Я прекрасно освоил эту могучую машину. А по стрельбе, как правило, получал отличные оценки. Булочную рыбу я не встречал: модели были уже другие, совершеннее. А если честно, то я и не вспоминал о нем. Мне нравилось рвать рычаги на себя и мчать во весь дух.

И сейчас мне кажется, что тогда, старше годами, я был младше того Юры, который вечером на полигоне встретил танк по имени Булочная рыба. И от этих мыслей у меня всегда что-то болит, и я не знаю, где.

Н о ч ь

(Сказка, похожая на открытое окно)

Итак.

Дует ветер.

Я подчеркиваю: дует ветер.— Не думайте, сказка не будет теплой. Она холодная. Осень. И небо, как приколочено, по краям — тучи.

И увидеть вы не увидите мою сказку. Этого просто нельзя сделать: ведь ночь и темно. Правда, где-то покачивается фонарь. Но там, где фонарь — светло и ночи нет. Что ж, фонарь я в сказку не вставлю. А если он и есть, то разбитый, перегоревший или уже совсем старый.

Кстати, сказку, вот эту сказку, нельзя и потрогать. Попробуйте, она улетит от вас с первым порывом ветра,

как желтый листик с ладони. Куда — неизвестно: темно. И даже если вы ее почувствуете, то на мгновение, как мокрую и холодную каплю дождя, скатившуюся за рукав. А дождя в сказке много. Сказка-то осенняя. И дождь все шумит и шумит по крышам, по деревьям, по лужам... Я все собираюсь рассказать сказку про ночь и никак не соберусь. Скорее говорю про сказку, чем самое сказку. Но ведь это же трудно. Она все время перебивает меня. То тиканьем часов, то свистом ветра, то торопливыми шагами. Да и дождь опять. А если где сквозняком окно шибанет... Ого... Тут уж и крик, и скандал... И какая тогда сказка?

Зато как она пахнет! Можно дышать и возвращаться. Неважно—куда! Но с каждым вздохом обретаешь утерянное.

Что на время оставляет природа: опавшие листья, мокрые ветви, поникшие анютины глазки. Все бы дышал и дышал...

А когда рассказывать?

Но если честно, говорить долго нельзя. Сами. Проснитесь когда-нибудь. Откройте окно. Да — по пояс. И будет вам самим живая сказка. *Ночь* — называется.

Сказка о песне

И снова — о Городе. Не обращайтесь внимания, если я могу перенестись в иные времена, например, в средневековые. Город, он всегда — Город. Что до средневековья, то это тоже может быть относительно. Кто знает, может быть, для далеких потомков именно нами заканчивается история Древнего Рима?

Итак, *СКАЗКА О ПЕСНЕ*.

Рассказывают, что в давние времена, когда земля была плоской, а небо таким светлым, что можно пересчитать все звезды, рассказывают, что в те давние прекрасные времена жил один Песнопевец. И его должны были повесить на площади столичного Города.

За какие грехи? Да мало ли за что можно казнить человека. Да еще Песнопевца. Может быть, за то, что он переложил на стихи крамольную теорию давеча сожженного алхимика. Или за то, что послал подальше Святого Отца. Или просто за рога, которые он наставил Городскому Судье. Разве мы с вами виноваты, что женщины так падки на ласковые слова и нежные мелодии?

Итак, в одно из воскресений хмельного мая тех давних времен на площади столичного Города собралась уйма народу посмотреть казнь любимого Песнопевца. А то, что он был любимым — это несомненно: то тут, то там, в разных концах площади, многие молодые длинноволосые (а тогда бы-

ла такая неплохая мода) люди пели как бы в знак протеста его, Песнопевца, песни.

А на эшафоте уже стояли главные действующие лица, очень суровые лица. Палач. С трудом в чем-либо разбиравшийся с жестокого похмелья, но уверенный в плоскости земли, как в плоскости своего эшафота, и вообще страдавший плоскостопием. Священник, оскорбленный до глубины своей бессмертной души. И Городской Судья, маявшийся комплексом неполноценности: неужто его жене было мало его самого.

Все они были страшно злы, ждали смерти Песнопевца, который в сопровождении двух инквизиторов уже поднимался на эшафот, и считали казнь через повешение слишком милосердной смертью. Что до них самих, они сожрали бы этого Песнопевца живьем за его вольнодумство, острый язык и кое-что еще, о чем настоящие мужчины молчат, а главное, за то, что он был Песнопевцем. Вот в этом они видели его страшнейший грех.

А Песнопевец поднялся на эшафот, расправил плечи, скользнул взглядом по толпе и посмотрел на небо. Оно было синим и скучным до безоблачности. И Песнопевец подумал, на что ему там опереться, когда он захочет настроить свою кифару. Потом он посмотрел на Палача, который мылил веревку. Кивнул Священнику, который то ли осенял его крестом, то ли про-

сто отмахивался от мух. И улыбнулся Городскому Судье, бубнившему приговор, написанный плохонькими стихами для вящей торжественности. Судья скрипнул зубами. Священник начал икать, а Палач укусил веревку. Палило солнце, звенели около лица мухи, а на площади гудел народ.

— Ваше последнее желание,—спросил Судья и слегка поклонился толпе, дабы она оценила его милосердие, миролюбие и гуманность.

Песнопевец прищурился: закурить?— банально, глоток вина?— неохота, поцеловать вон ту красавицу на балконе? — но она не в его вкусе.

Ах, все это в его жизни было и было, всего он имел вдосталь. Не для этого жил.

Песни! Он всегда пел песни...

— Дайте мне лиру, банджо, или еще что-нибудь струнное,— сказал Песнопевец.— Я хочу спеть песню.

И тут уж толпа загудела. Такую возможность как упустить?

— Валяй! — орала площадь.— Давай!

— На тебе гитару,— буркнул Палач.— Ты пой, да побыстрее.

Ему только и хотелось, что опохмелиться...

И Песнопевец запел.

Он пел песню о своей земле, которая прекрасна до неповторимости и необъятна до горизонта. Он пел песню о дорогах своей земли, по которым ходят люди, находят счастье, обретают друзей, побеждают врагов и встречают любовь. Он пел песню о любви,

яркой, как тысячи звезд, собранные в одно солнце, и темной, как самая таинственная тайна. Песнопевец пел песню всех своих песен, будивших разум и горячивших кровь до того, что синеватые блудницы чувствовали себя богинями. Песнопевец пел песню, и небо раздвигало горизонты.

— Все! — крикнул Песнопевец и разбил гитару о виселицу.— Можете меня вешать!

Но лопнувшие струны звенели в тишине...

Палач стоял с закрытыми глазами и покачивался: земля кружилась у него под ногами. Священник вперил свой мечтательный взор в край земли, и ему хотелось куда-то далеко-далеко. А Городской Судья гордо улыбался. Он был не в претензии, что его жена изменила ему с таким человеком. И, кажется, начал понимать, что женщине от мужчины мало одного только мужчины...

— Вешайте меня,—сказал Песнопевец.— Я спел свою последнюю песню и лучше я, пожалуй, не спою. Я спел свою жизнь. И пусть она остается у вас этой песней.

И Песнопевца казнили в одно из воскресений хмельного мая тех давних времен. Казнили под аккорды его последней песни, которая потом по строчке разошлась в другие песни, и даже сейчас мы ее с вами поем, вовсе не подозревая, что поем последнюю песню Песнопевца. Пусть по строчке. Но за всю свою жизнь мы должны пропеть ее до конца.



Александр Родионов

Сосед

1

Осенний ветер — он деревья студит,
Стучится в окна, бродит по дворам.
Меня не эти звуки утром будят.
Другие звуки слышу по утрам.
Лишь только день войдет ко мне
под крышу

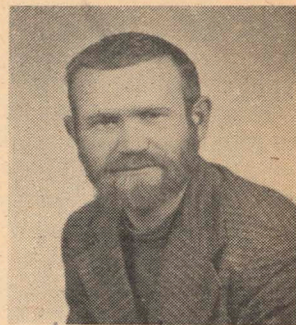
И звуки наполняют сонный дом,
Я, просыпаясь, первым делом слышу:
По глине мягко шлепает ладонь.
За стенкою сосед неугомонный
О чем-то напевает в мастерской.
Он с жаждою знаком неугомонной
Вести беседу с глиной
день-деньской.

Такое удастся властелину.
Способности такой не одолжить —
Он так умеет мять сырую глину,
Что эта глина
начинает жить.

2

В мастерской непривычно тихо.
Я не слышу песен, бесед.
Может быть, приключилось лихо?
Ну-ка, гляну:
чем жив сосед?..

...У стены, наклонясь понуро,
Неприветлив и нелюдим,
Он сидел.
Комья глины хмурой
Возвышались горой пред ним.
Тишиною к нему влеком, я



Так спросил:

«Что склонил чупрын?
Кто разрушен и скомкан в комья
Пред тобой?»
Он ответил:
«Сын».

3

На слове «сын» прерву я главку эту.
Не для того, чтоб воздуха глотнуть.
Но, чтоб добавить ясности сюжету,
В минувшее я должен заглянуть.

...Она вошла на зависть всем
невестам
С ним в мастерскую, словно
во дворец.

Был гением, конечно, неизвестным
Муж молодой — прекрасного творец
Дней молодых не отдавая сплину,
Себя он жизни настежь отворил.
Он глину и жену, жену и глину —
Два чуда в мире он боготворил.
Но годы шли. И сын на свет явился.
А муж все не богат, не знаменит.
И в недрах быта медленно копился
Семейного разлада динамит.
Настал денек, когда ей показалось,

Вовсю загоревал.

«ЭТО — ВНУК».

Не посвящая в замыслы меня.

День на птичий след прибывает.
И уже рассветает в семь.
Мой сосед то поет-напевает,
То не слышно его совсем.
То по глиняной влажной коже
Часто-часто ладонью бьет.
Звук не виден.

И все ж похоже —
Сильный голубь идет на взлет.
Я, сгорая от нетерпенья,
Тот полет увидеть хотел,
А увидел я глины пенье,
Молодое кипенье тел.
Скульптор глину ладонью тронет,
Чтоб звучнее она была —
Вырывались из-под ладони
Разрезвившиеся тела.
С первоцвета пыльцу сбивая,

Мчались к солнышку по лугам,
Друг за дружкой попевая,
Жеребенок и мальчуган.
И, резвящихся бег лелея,
Мастер трогал и подновлял
Гриву, локоть

и все смелее
Ветра встречного подбавлял.
И от этого у бегущих
Прибывало ответных сил.
Песня делалась крепче, гуще.
Я заслушался и спросил:
«Кто, вбегающий в мир отважно
Для безоблачного житья?»
Скульптор хлопнул по глине

влажной:

«Внук мой,
Сын мой,
А может,— я».

г. БАРНАУЛ

Антология короткого рассказа

Гарий Немченко

ИНЕЙ НА СТЕКЛЕ

Почти никого в городе не знаю, но уже со многими на улице здороваюсь... Наверное, это привычка: в рабочем поселке под Новокузнецком, где раньше жил, я ведь и шага не ступал, не поздоровавшись. И теперь для меня достаточно, во-первых, самого мало-мальского повода, чтобы кивнуть потом человеку при встрече, а во-вторых...

Во-вторых, мне тут стало казаться, что разные города населяют в общем-то очень похожие люди, только одеты они по-другому и занимаются другими делами — как бы живут другой жизнью. Там он был у нас до точки замотанным бригадиром, а тут, глядишь, с хорошей кожаной папкой под мышкою выходит из облизполкома, и, выпятив заметное брюшко, долго стоит на ступеньках под козырьком, неторопливо покуривает, скользит скучающими глазами по лицам прохожих... Или у нас он, предположим, в горькоме работал, приезжал к нам на стройку «цеу» раздавать, а тут вдруг появляется из-за ширмы в белом халате, укутывает тебя накрахмаленной простыней, берет в руки ножницы...

И с тем, и с другим сперва я здоровался от неожиданности, а в следующий раз уже сознательно: если принял за своего — чего ж теперь?..

Постоянно встречал тут на улице небольшого росточка, с горделивой осанкой парня лет тридцати пяти — больше, пожалуй, рыжего, нежели просто блондина. У нас он был знатный экскаваторщик, на больших собраниях или каких конференциях всегда выступал с предложением избрать почетный президи-

ум... На работе, известное дело, в замасленной телогрейке да в кепочке, а когда при параде — черный костюм на нем, белая рубаша и галстук, и над карманом на груди обязательно — белоснежная полоска платка. А этот постоянно был в светло-сером костюме, из-под которого выглядывала кремовая водолазка. Слегка наклонит, когда здоровается, голову с волнистой шевелюрой, глянет хитренько: знаю, знаю, мол, за кого меня принимают!.. И тут же сделает независимое лицо, поднимет подбородок еще выше, и пошел дальше — как аршии проглотил, хотя сделать это он и не смог бы по причине малого роста.

На днях рано утром, по морозцу иду я с почты и вижу: перед витриной «Гастронома» стоит мой «экскаваторщик», пытается заглянуть внутрь. Из-за малого своего росточка тянется на цыпочках так, словно хочет вылезти из модного когда-то серого пальто с широким поясом, покачивает с боку на бок головой в черной, с длинным козырьком, финской шапке.

Я — со своими новокузнецкими шуточками:

— Что, — спрашиваю, — колбасу небось выбросили?..

Он живо обернулся:

— Какую, извините, колбасу?

— Да тут ведь, кажется, колбасный отдел?..

— Да? — он так искренно захохотал, что я тоже невольно заулыбался во все лицо.

Но он вдруг разом погасил улыбку — уди-

вительно, тут же и следа не осталось, — сказал доброжелательно и серьезно:

— Нет, видите ли, я — художник. Пишу сейчас картину, на которой должно быть заиндевевшее окно... А какие у нас морозы, сами знаете. Так долго ждал! А нынче утром глянул на градусник — наконец-то! И — скорее по городу. Где-нибудь, мол, да встречу... Мне разводы нужны, морозный узор, а тут видите — это все!

Глядя на еле заметный, совсем размытый с краю чахлый ледяной росток, он огорченно вздохнул, развел руками, а я так все и стоял еще с дурацкой улыбкой на щеках...

Как мне потом хотелось помочь ему!

Пойти в мастерскую: «А хотите, я вам...» И рассказать, как солнечным днем в зимней тайге сыплется с деревьев серебряная кухля, как, пронизанные светом, под голубым небом в сахарном куржаке стоят желтобокие вековые сосны... И на оконцах в избе у деда Савелия и бабушки Марьи расцветает в те дни такое узорочье!..

Рассказать, как в прокаленном жгучим морозом автобусе девчонки долго дышат на стекла, как прижимают одним глазком, чтобы глянуть, какая остановка, и как прозрачный кругляшок тут же снова затягивается острой ледяной пленкой... Как в самом большом «Гастрономе» в центре города, очень теплом, по

сантиметровым зарослям куржи кто-либо проводит ногтем, ставит черточку, и потом стоит, ждет в сторонке, пока не увидит ее другой, не поставит рядом свою отметинку, а когда появится третья, это значит, что коллектив уже сложился, что можно становиться в очередь к родному отделу, а три этих длинных палочки на замерзшем стекле надо наискосок перечеркнуть, чтобы не сбивали с толку других, пусть эти другие заводят свою табличку — вон сколько их на просторной витрине магазина, этих следов коммуникабельности, которая так резко возрастает, когда крепчает мороз...

В те дни у меня на столе лежало письмо в плотном продолговатом конверте со штемпелем станции «Северный Полюс-12» — прислал недавно мой старый друг Юра Апенченко, спецкор одной центральной газеты... Может быть, думал я, отнести, показать художнику? Меня этот штемпель спасал тогда от одиночества. А художника — вдруг вдохновит?..

И так хорошо мне было постоянно возвращаться к мысли о том, что есть в этом крошечном городке, есть человек, который приподнимался перед витриной «Гастронома» на цыпочки вовсе не за тем, чтобы посмотреть, большая ли очередь да какую сегодня дают колбасу...

г. МОСКВА

Александр Лапшин

В ПУТИ

В последнюю минуту, когда вспыхнул кошачьим глазом светофор, машинист сказал Мишке:

— Веди состав. Я что-то расхворался.

Если б Мишка глянул в этот момент в лицо машиниста, то вместо страдания заметил бы потаенную хитринку в глазах.

Мишка юркнул на сиденье машиниста, дал сигнал отправления и, волнуясь, плавно открыл тугой регулятор. Натянув, как струну, тяжелый состав, паровоз шумно выдохнул: тя-же-ло, тя-же-ло. А вскоре локомотив молотил скороговоркой: не догнать, не догнать, не догнать.

Сидит Мишка гордо. Душа ликует.

— Жаль, мать не видит. И друзья. От зависти бы усохли, — хвастливо улыбается он.

Ты лети, лети моя машина.

Сколько много вертится колес!

Ой, какая чудная картина,

Когда по рельсам мчится паровоз, —

пел тихо парнишка и тут же отметил, что промелькнувший кособок, с березками на нем, походит на праздничный торт со свечами. Ветер пытается обогнать машину. Победенный, он бросается в высокую пшеницу, треплет ее и зигзагами уносится вдаль. Мишка победно хохочет.

— Не отвлекайся, — болезненно морщится механик. — За вторым постом начнется подъем. Выжимай из паровоза все, а то растянешься.

Всем телом Мишка нажимает на регулятор и открывает его до упора. Машина ревет, как зверь, выбрасывая из трубы снопы искр, которые кажутся ему праздничным фейерверком.

Через переднее смотровое окно он видит у переезда второго поста молоденькую стрелочницу с флажком. Мишка разглядывает ее несколько секунд, но успевает заметить, как ветер полощет волосы и платье, обтянув тонкую фигурку. Облитая солнцем, она, казалось, светится, словно солнечный зайчик, и помахивает свободной рукой, как это делают маленькие дети, провожая поезд. Мишке хочется ответить ей ласковой улыбкой, хочется выплеснуть радость: «Смотри, я веду сам!» Но вместо этого он напускает важный, сосредоточенный вид и бормочет, подражая машинисту: «Тяжеловесные водить по сложному профилю — это не кашу варить». Суетится, будто крутит реверс, подает долгий сигнал.

Подъем миновали благополучно. Правда, от напряжения у Мишки вспотел кончик носа — переживал, как бы машина не забуксовала. Копируя усталые движения машиниста, он откидывается на спинку сиденья и следит за летящими навстречу светофорами.

Перед глазами встает девушка с флажком. Мишка уверен — она удивилась: «Какой молодой и симпатичный машинист». Юноша счастливо улыбается и представляет такую

картину: они встречаются в городском парке.

«Ее зовут Светлана, — думает он, — светленькая потому что». Сверкают огни. На танцевальной площадке саксофон. Она смущенно спрашивает:

— Скажите, Миша, как вы, такой молодой, стали машинистом? Вы техникум паровозный кончали?

— Не пришлось, — отвечает Мишка, — но я с малолетства при паровозах. Батяка был машинистом. Жили возле депо, так что я еще шкетом паровозы изучил и различал их по гудкам. Когда отец помер, остался я за главного. Мать хвора. Пришлось идти в депо. На паровоз не подходил по годам. Потом Матвейч, друг отца, уговорил-таки начальника и взял к себе. Работал я здорово, потому как потомственный паровозник. Матвейч видит, что я доверие оправдал, и говорит:

— Конечно, водить составы по сложному профилю — это не кашу варить, но как лучше всех знаешь машину, работаешь на все «сто», то, несмотря на твое малолетство, ходатайствую перед квалификационной комиссией. Пусть дают тебе зеленый в машинисты. Председатель артачился: лет мало. Но сдался. А откуда меня экзаменовали да откуда оформляли — стукнуло восемнадцать. Вот и стал машинистом.

...Бешеный толчок сердца от сознания возможности осуществить желаемое возвращает Мишку к действительности.

— Михаил Матвеевич, — нудит он, — заручись перед комиссией, а? Жилы подтяну, не подведу.

— Ишь, скороспелый, — ворчит тот, — рановато еще.

— Как рановато? — запылил Мишка. — За сто верст любую серию по гудку определю.

— Машину-то ты знаешь и любишь, да гудков тебе маловато.

— А как Островский в четырнадцать лет нашу власть защищал? Гайдар в пятнадцать лет ротой командовал... А Доватор?.. Если разобраться, я уже перерос. Мне через три месяца — восемнадцать.

— Ну и что, — буркнул старик. — Не было еще восемнадцатилетних машинистов. Не примут — и все. Возраст несерьезный.

Мишка приуныл. Перед глазами встала девчонка с флажком. Через минуту он сказал:

— Мне никак невозможно оставаться в помощниках — обманул я хорошего человека. Соврал, будто я машинист, — и грустно замолчал.

На станции, у контрольного столбика их

встречала локомотивная бригада. После сдачи паровоза смене машинист сказал Мишке:

— Топай за мной.

— Куда? — удивился Мишка, видя, что машинист направился не в мойку.

С задорной решимостью тот ответил:

— Попытаемся и мы быть дователями.

г. НОВОКУЗНЕЦК

Анатолий Бобриков

ОГНЕННЫЙ ЗМЕЙ

Мать приносит с колхозной работы в карманах колоски или несколько горстей зерна. Мы, четверо ее желторотых сыновей, старшему из которых двенадцать, а младшему семь, толчем тяжелым пестом в отливающей изнутри серым блеском железной ступе пшеницу, загребая в горсти и, ссыпая снова в ступу, до боли в висках дуем на струйку зерна — отвеваем шелуху.

Потом варим в чугунах из зерна кашу, разбавляем молоком и хлебаем некрашеными, обгрызенными по краям деревянными ложками. Едим из одной миски жадно, молча.

Вылезает из-за стола с ощущением, что не наелись. Мы уже к этому привыкли, и чтобы забыть о еде, стремимся скорее на улицу. Играем с другими пацанами в прятки, сыщики-разбойники или принимаемся катать при помощи толстой, специально изогнутой проволоки обручи от ступиц старых тележных колес.

Летом все мы, дети, и мать с нами, спим на полу. Зимой на русской печке: изба наша старая, зимой она промерзает, и углы покрываются толстой коркой инея.

За день у меня возникает столько вопросов, что не знаю, как уместятся в голове. Самый старший брат, Витька, мог бы уже кое-что объяснить, но не хочет и вместо объяснений дает мне по шее. И вот вечером я ложусь с краю и берегу место для мамки. Кто-

нибудь из братьев толкает меня в спину, чтобы подвинуться, но я не двигаюсь, отбиваясь локтями и ногами и нарочно громко верещу. Мне зло шипят в затылок и оставляют в покое.

Я жду, когда мать управится по дому и тоже ляжет.

— Лупастик ты мой, — ласково говорит мать, занимая свое место и награждая меня поцелуем. — Ждешь?

— Жду.

— Сказку тебе?

— Не.

— А чего?

Я думаю, о чем спросить в первую очередь. Спрашиваю, что первое приходит на ум в эту минуту.

— Мам, почему мы и еще Хруновы и Латины живем бедно, а Казанцевы — богато?

— Ну уж — богато...

— Васька ихний хвалился сегодня, что у них все есть, даже хлеб пекут.

— Наверное, потому, — отвечает мать со вздохом, — что нет с нами наших батек. Воюют они. А Васькин батяка дома, ему «бронь» дали. Тракторист.

Слово «бронь» я понимаю в прямом смысле и думаю, зачем Казанцеву дали бронь и что он с ней будет делать. На колесник со шпорами прилаживать? Я хочу спросить об этом

у матери, но она уже говорит такое, что я забываю про трактор.

— А вот раньше говорили, богатым змей помогает.

— Какой змей?— едва выговариваю: от удивления и страха у меня немеют губы и холодит внутри.

— Огненный змей.

— Расскажи,— выдыхаю горячо в ухо матери, прижимаюсь и удобней пристраиваюсь головой на ее мягкой большой руке.

— Говорили, есть такой змей,— шепчет мать.— Водится у тех, кто душу дьяволу продает.

Про душу я кое-что уже знаю. Это как тень человека, и живет она вечно. Умрет человек, душа его поднимается на небо и там среди множества теней ходит и ищет тени своих родных, умерших раньше, чтобы жить вместе, одной семьей, как на земле. Знаю это из рассказов матери. О дьяволе у меня понятие смутное, спрашиваю, кто он.

— Ну, черт,— поясняет мать.

— И сейчас такой змей есть?

— Есть,— говорит мать.— Раз сказка есть.

— А душу за деньги продают?

— Что сейчас за деньги купишь,— вздыхает мать после долгого молчания.— На хорошие вещи меняют. Я свое все перетаскала, отцовское осталось — берегу пока.— Мать замолкает. Думает, наверно, об отце.

— Тогда за что, если не за деньги?

— А?

— За что душу продают?

— Да за все,— возвращается мать к прерванному рассказу.— Человек дьяволу душу, а тот взамен что хочешь.

— И хлеба, и мяса?

— И хлеба, и мяса.

— И меду?

— И меду тоже.

— Откуда берется змей? — мой голос прерывается от жуты, я боюсь пошевелиться, хотя от неподвижной позы ломит шею.

И мать вполне серьезно сообщает:

— Из петушиного яйца.

— Из курицыного петушиного? — переспрашиваю.

— Из его, из курицыного петуха.

— Он же не несется,— не верю я.

— Так думают, а бывает, несется,— без тени сомнения уверяет мать.— Один раз в году, летом и в таком укромном месте, что яйцо трудно найти. Некоторые находят, по крику. Он, как снесется, курицей кудахчет. Яйцо у него меньше куриного будет, как сорочье, но с твердой скорлупой и желтого такого, золотистого цвета...

Мать замолкает, слышу по дыханию, что засыпает.

— Дальше, дальше что? — тормошу я ее.

— А что дальше?— спрашивает она, уже забыв, о чем говорила.

— Кто яйцо насиживает?

— А никто,— говорит мать.— Человек кладет его под мышку и носит целый месяц. Под мышкой тепло, вот и выводится змееныш.

— Маленький?

— Маленький, как пламя в нашей лампе, и сразу прячется в печку,

— Зачем в печку?

— Питается он огнем, потому и в печку.— Дыхание у матери становится глубоким, ровным.

— Мам, дальше,— тороплю я.

— В печке он вырастает. Как вырастет, начинает служить человеку, который его выносил. На глаза никому не показывается, даже самому хозяину. Когда хозяину надо что, он открывает в трубе дверцу, где выюшка, называет змея ласковым словом «змеюшка» и велит принести ему то-то и то-то. Проснется утром хозяин, а у него в избе всего полно: и муки, и крупы всякой... и мяса... и молока...

— И меду?

— И меду,— добавляет мать.— На вечерней заре змей улетает, прилетает с запасом на утренней. На зоревом небе его не так видно, в глаза не бросается — заря огненная и он огненный.

— И никто его не видел?

— Говорят, видели некоторые.

— А ты?

Мать признается, что не видела.

Вообразив себя «хозяином» и думая о змее, я незаметно засыпаю, и продолжением рассказа матери мне становятся красочные

видения змея во сне. Как огненная лента, носится он бесшумно по небу, выделяет всевозможные петли, круги, восьмерки, ныряет в печные трубы, выскакивает из них, а следом летят и гаснут искры...

На другой день я рассказываю о змее пацанам, с которыми вожусь. Они слушают, разинув рты. Это меня вдохновляет, и я говорю, что такие змеи живут у Казанцевых и Поповых — они богатые, даже хлеб пекут.

— Надо спросить у Васьки, — предлагает кто-то из пацанов, имея в виду сына Казанцевых, нашего сверстника.

— Васька не знает, — авторитетно высказываюсь я. — Змей сидит в трубе, на глаза никому не показывается и подчиняется только хозяину.

— Тогда надо самим разузнать, — заявляет мой дружок Санька Хрунов. — Залезть на крышу и посмотреть в трубу.

Все мы как по команде поворачиваем головы и смотрим на высокую крутую крышу дома Казанцевых. Каждый убеждается, что залезть на такую крышу почти невозможно, и потому этот вопрос нами больше не обсуждается.

Пацаны, наверное, забыли о змее назавтра же. Я — нет. Я начинаю вести наблюдение за нашим петухом Петькой. Сколько раз он попадался мне на глаза раньше, но я никогда к нему не приглядывался. А оказывается, Петька — красавец. Перья у него сизые и красные, а белые — редко. Гребень и сережки кажутся такими сочными, что удивляешься, почему с них не капает кровь. Когда взлетает на городбю — это не Петька. Огонь! Ноги сильные, шпоры острые, голову держит высоко, ходит важно. Куры, те жадины. Кинет им мамка картошку вареную, они за нее чуть не в драку. И обжоры, весь день бродят по двору, копаются в мусоре и все клюют, клюют.

Другое дело Петька. Если найдет червячка или жучка — обязательно зовет кур, чтобы поделиться. Еще он частенько поглядывает по сторонам, чтобы глухих кур не захватил врасплох коршун или ястреб.

Куриц у нас, правда, сейчас только две.

Остальных мы съели. Мать варила их, чтобы поддержать нас, когда мы болели.

Я подолгу сижу на дерновой крыше баньки или на заплотнике, прикрываю ладонями цыпущные ноги, чтобы не жгло солнце, и не свожу глаз с Петьки, чтобы не прокараулить, как он снесет яйцо, из которого выведу змееныша. И тогда у нас будет все. Правда, меня страшит то, что за это надо будет продать душу дьяволу... Как я без души-то?.. Но что об этом, яйца ведь пока нет еще. А там видно будет. Может, мне удастся как-нибудь обмануть этого дьявола...

Меду пусть не обязательно. Но вот хлеба досыта, молока бы, картошки... Потом штанов, рубашек и на ноги что-нибудь...

Шли дни. Петька занимался своими петушинными делами: обхаживал куриц, кококал. Он кукарекал, как положено. Но не кудахтал.

Может, я прозевал: иногда меня сманивали пацаны на улицу поиграть. А Петька тем временем снес яйцо в потайном месте? Словом, в то лето я не укараулил петуха.

Но огненного змея я увидел. Уже зимой.

Был вечер. В полнеба полыхала яркая зоря, обещая на ночь трескучий мороз. Мы с Витькой заготавливали дрова. Витька, по мужски хрюкая, рубил тонкий сухой валежник, натасканный нами из леса еще летом, я осторожно, чтобы не попало в лоб, подбирал отлетающие в стороны полешки и носил в избу.

Набирая в очередной раз дрова, я услышал непонятный гул, идущий из-за спины с противоположной стороны улицы. Распрямился и посмотрел назад. Тут и увидел огненного змея. Вернее, только его хвост, что пламенем трепетал над трубой дома Казанцевых. Поздно оглянувшись, головой змей уже пролез в трубу. Но и хвост сам по себе был красив и страшен.

Довольно долго стоял я, обнимая охапку дров и наблюдая, как хвост становится все короче и короче. Наконец, он исчез совсем, гул прекратился.

— Ты видел? — тревожно обратился я к брату.

— Чево видел? — переспросил Витька.

— Змея. Как он к Казанцевым в трубу...

У брата от удивления округлились глаза.
— Тю-ю... чокнутый.— Он с пренебрежением надвинул мне на глаза шапку.— Змея увидел! Ха-ха-ха! Это сажа в трубе горела. Понял!?

— Зна-аешь ты..,—недоверчиво протянул я.

— Знаю!— твердо сказал Витька.— Выпятия зенки, чудо увидел. Петушиный сторож,— обозвал он меня и, воткнув в чурбан топор, неторопливо пошел в избу.

Витьке я не верю. У него, как говорят пацины, не «заржавит» соврать, тем более мне: я же шкетик. Но мы еще посмотрим.

Вот наступит лето, и я, чтоб надежней было, стану, как мамка куриц, щупать Петьку, с яйцом он или нет. Мамка меня научит.

Мать приходит с работы поздно, растапливает печь, моет посуду. Вдыхая, что мало остается на посадку, достает из подвала несколько картофелин, варит суп, а мы заранее забрались на стол...

После ужина я лезу на печку. Прибрав со стола, мать принимается латать нашу одежку, я смотрю на трещинку в трубе, через которую проблескивает пламя, слушаю шум ветра в трубе и думаю свою думу про огненного змея.

Наконец мать тушит лампу и забирается на печь. И только я начинаю про змея, как она говорит:

— Спи, поздно уже. Завтра рождество, праздник. Надо будет пораньше встать. Приготовлю вам утром вкусный завтрак. Спи, я устала...

Просыпаюсь утром и с удовольствием вдыхаю непередаваемый аромат чего-то вкусного. Сглатывая голодную слюну, быстро — братья с ложками уже сидят за столом — спускаюсь вниз и втискиваюсь за стол.

Мать дает по маленькому кусочку овсяного хлеба, ставит одну на всех большую миску горячего куриного бульона. Чтобы ловчее было дотягиваться рукой до миски, я поднимаюсь на лавке на колени.

— Теперь у нас одна курица?— спрашиваю у матери, когда миска опустела.

— Почему одна,— удивляется она.— Две были, две и остались.

— А это? — показываю я на кусочки курятины, которые появились на столе в другой миске.

— Это петух.

Я поперхнулся крошкой хлеба, закашлялся, глаза наполнились слезами, все стало как в тумане. Есть уже не хочется, я вылезаю из-за стола, тру кулаками глаза: «Эх, мамка... Петьку-то зачем? Петьку-то... А?..» — и начинаю реветь...

Михаил Небогатов

„...НА САМОЙ ЗАДУШЕВНОЙ НОТЕ“

Из цикла стихов о творчестве



Очень трудный жребий у поэта:
Жить, крутясь, как белка в колесе,
Но творить из будней праздник
света,

Чтобы жизни радовались все.
Очень славный у поэта жребий,
Сходный с доброй сказкой наяву:
Видеть над собою тучи в небе,
А дарить нам солнце, синеву.

Говорю себе: время не трать!
А вчерашнее попусту кануло.
Любопытной луной оно глянуло —
Ни строки не вписал я в тетрадь.
Суета, суета, суета...
Как избыть ее, нудную, черствую?
А бывает, что сам ей потворствую —
И молчит о прекрасном мечта.

Привыкаем за жизнь ко всему —
К зорьке утренней, к зорьке
закатной.

Но никак не могу к одному
Я привыкнуть — к странице печатной.
Всякий раз, как подарок, беру
Лист газетный, журнал, альманах ли,
Где слова, что вверял я перу,
Типографскою краской пропахли

Не любому доступны вершины,
Но любого должны они звать.
Проходя по тропинке долины,
Не должны мы о них забывать.
Пусть ведут нас долинные тропки
Просто к сопке, совсем небольшой,
Но даются и малые сопки
Только тем, кто возвышен душой.

«Гении» непризнанные... Жаль их,
Верящих в какой-то свой черед.
Словно хлам товаров залежалых,
Их в расчет никто и не берет.
А иной, талантливый на деле,
У кого во всем — тропа своя,
До седин не верит: — Неужели
Истинно чего-то стою я?

Если чувства запустишь,
В лапы лени отдашь,
Все в них будет, как пустошь —
Неприглядный пейзаж.
Путь в любое искусство —
Через радость и грусть.
Не вверяй свои чувства
Безразличному «пусть»!

Жизнь у всех по-разному поется.
Иногда зачином неплоха.
А бывает, голос вдруг сорвется,
Даст, как говорится, петуха.
Пусть у запевал я не в почете,
Их уж не дано мне заглушить,
Но на самой задушевной ноте
Я хотел бы песню завершить.

Человек и природа

Валерий Сибикин

Н О В Е Л Л Ы

Ученый червяк

Нынче зима — не зима. Теплынь стоит, солнце сияет. На припеках даже греет.

— Гляди-ка, погода, — качает головой дедушка. — Из дома, прям, не знамо куда гонит. — И смотрит на бабушку: поняла ли та намек?

— Ну, заерпезил ерпеза́. — Бабушка прогоняет челнок поперек основы. — Куда опять ты легкая снаряжает... погоду вот, ткать начну. Вдруг с кроснами какая незадача... отладишь, тогда уж и дуй не стой.

— Ну, баушка. — Дедушка переходит, когда в хорошем настроении, на певучий сибирский говор. — Коли так, то мы живо. Да пойдем-ка с Витей. — Он засуетился вокруг кросен. — Окунишек подергаем из проруби.

Кросна — это станок такой ткацкий. Раньше на нем все ткали, а теперь — если половики разноцветные да коврики разные.

— А где мы червей возьмем? — Снег же кругом, — сказал я, когда мы вышли из избы.

— Найдем. Будь охота. — Дедушка взял пешню, трепело (сачок такой, лед из проруби черпать), мне достались удочки и рюкзак.

— А лопату? — напомнил я, когда дедушка закрывал за собой калитку.

— Зачем?

— Червей-то копать.

— А-а, — вспомнил дедушка. — Да она и не нужна, если кой-какие секреты ведать. Я

вот вместо нее пару спичечных коробков прихватил.

На берегу, куда мы пришли, летом такой бурьянице рос! Он и теперь стоит, сухой.

Прямо в него и полез дедушка. А снежище.

— Ты не ходи сюда, — кричит, — утонешь по уши. — И начал ломать черныбыльник. Для костра, что ли?..

Дедушка бросил охапку черныбыльника на лед, взял один стебелек и расщепил его. — Гляди-ка сюда, — показывает. — Кто это?

Я глянул — вот это так да! Червяк! Белый, жирный. Ну самый-самый, каких рыбы любят. — Дедушка, да он живой!

— А что ему доспееется. — На лице у дедушки довольная ухмылочка. — Сердцевина у черныбыльника «ватная». Завернулся в нее, как в шубу, и мороз нипочем. Шуба же — и корм при нужде.

— Ему, что ли, сильные даже морозы нипочем?

— Очень-то сильные и до него добираются. Только он, брат, крепко защищен.

— Защищен?! Да он же голый!

Дедушка затаил усмешку. — Давай его раздетым оставим. А сами пока делом займемся.

Мы из этих стеблей червяков навываскивали, сложили в спичечные коробки, прору-

били проруби и давай окуней таскать. Уж те червяков хватать рады! Только наживишь, закинешь, раз-раз, подергал удочку — цап! Сидит полосатый на крючке как миленький.

— Ну-ка, взгляни на своего нагиша, — по-казывает дедушка на того червяка, что мы «раздетым» оставили.

А я и забыл про него, так увлекся оку-нями.

— В ледышку превратился, — засмеялся я. — Вот тебе и защищен! Одна сосулька от него осталась.

— А ты не спеши смеяться-то. Давай один коробок освободим и положим туда «сосуль-ку». Да сунь его в теплый карман. Вот так.

И он положил коробок в мой карман под шубу.

Рыбалка была что надо. Чуть не полное ведро наловили.

— Вот уж тут и шурпа, и пирог к празд-нику, — похвалила бабушка.

— Э-э, а что с нашим нагишом, интерес-но, — вспомнил я, когда снял шубу. Открыл коробку, а червяк-то — живой! Шевелится се-бе как ни в чем не бывало.

— Ну, — смеется дедушка. — Понял те-перь, какая у него защита?

— Совсем же перемерзший был... А как ожил-то? Что ли, живой водой его покропи-ли? Нет, это прямо чудо какое-то!

— Не везде оказываются годными наши людские мерки. Червяк тебе и доказал это. — Дедушка повесил свою шубу, расстегнул пид-жак и сел на лавку. — Дай-ка взглянуть.

Я подал коробок.

— Не умер, видишь, а только заснул, что ли.

— Здорово! Вот бы людям так, правда?

— Правда, — серьезно согласился дедуш-ка. — Но для этого надо у этого червяка вы-ведать его тайны... В природе столько мудро-сти скрыто. У каждой букашки свои секреты. Не сочти за стыд за советом прийти к тому, кто у тебя под ногами копошится. Потому что законы природы всеедины, и все живое на земле в родстве находится. И нет в ней ниче-го, к чему присмотревшись, человек не полу-

чил бы пользы. Вдумчивый человек в любой соринке смысл уразумет, в простой луже но-вые миры откроет.

Я с уважением посмотрел на «ученого» червяка.

— Оставь его в коробке на неделю-дру-гую, — посоветовал дедушка.

Дней, наверно, через пятнадцать в короб-ке на моей полке как что-то зашуршит! Я к коробке. Открываю, а червяка-то — нету! А по коробке носатый черный жук бегаёт!

— Дедушка! — испугался я. — Какой-то жук нашего червяка сожрал! Смотри! — И показываю коробку. — Как он залез? Закрыто же было.

— Да, — сокрушался дедушка, разгляды-вая коробку. — Истый взломщик. И в дом вор-вался, и от хозяина одну шкурку оставил.

— Какую? Где?

— Да вот в уголке-то что лежит?

— Правда, шкурка.

Она с цветом коробки слилась, я ее и не заметил.

— Дедушка, да это вовсе не червякова шкурка.

— Ну?! — удивился он. — Час от часу не легче. И вправду что-то непохоже.

— Конечно. У нас был червяк как червяк, а это... Дедушка, дедушка, — разглядел я, — гляди, она на человека похожа. Голова, вон два глаза. А носище длинный какой! На грудь свешенный. И руки на груди сложил. Будто богу молится.

— Да, — почесал дедушка затылок. — От-куда все взялось? — И на меня смотрит.

— Не знаю...

— Чудеса в решете. Был червяк как чер-вяк. Теперь вместо него жук бегаёт да «бо-гомалец» вот этот.

Я только плечами дернул.

— Нет, Витя, все тут идет своим чере-дом. — Дедушка перестал быть загадочным. — Червяк был личинкой. И превратился в этого самого жука.

— Из червяка такой жучина?! Ну прямо! Да они и не похожи друг на друга ни капель-ки.

— Ну, не сразу, конечно. Сперва личинка была куколкой. В куколке-то и происходят чудеса. Сама куколка неподвижная, как мертвая. Но внутри нее жизнь кипит, все меняется, и получается жук, потом шкурка распаивается, и из нее выходит вот этот жук. — Де-

душка открыл коробочку, в которой суетился наш пленник. — А «богомалец» наш — это и есть одежка куколки.

— Дедушка, — озарило меня. — Уж не отсюда ли поверья про всяких оборотней?!

— А то откуда же...

Ай да строитель!

В сенокосную пору у нас в колхозе все, кто может, — на сенокос! Семиклассники тоже годны. Кто на грабли, кто на волокуши, а кто и под литовку горазд.

Сенокос! Вот уж где благодать! Еще роса переливается по травам, с кустов радуги сыплются и низины туманом закладывает, а лагерь пробудился.

Кто дрова колет, кто за водой с ведрами, кто, уперев косовище в землю, размашисто гоняет оселок по жалу литовки. Вжик-жик! Вжик-жик-зень-нь-нь! — поет, позванивает коса. И от каждой палатки: дзен-чек! Чек-чоп! Дзек-чоп-чек-чок! Косы отбивают, чтобы у них зазубрины появились, как у серпа. Вот тогда-то она режет травку!

Как размахнешься, какпустишь косу по дуге, слегка пяточкой к земле ее — только прошипит с подвыгом, как раскаленный шкворень в воде, в кузнице у дяди Андрея.

Это трава рядами ложится.

А запах! Фонтанами из-под косы. Клубится, густеет над лугом. А ты в нем, наверно, как камашка в янтаре.

Шаг левой — взмах косой! Правая нога сама собой возле левой привстала, и коса просвистела по травостоя. Снова шаг левой, взмах, и за тобой высокая зеленая строчка валка.

Но не так-то уж и просто писать такие строчки.

По нашему росту у нас с Мишкой и косы «троечки». А если бы «девятки», как у взрослых, и писать, может, охотка бы отпала.

— Нет, рази это дело, — говорит дед Улагашев, показывая на наши косы. — В школе они пятерки огребают, а тут больше «троечки» не желают, едри ж твою в копалку.

— Пусть, Карп Силантьевич, в «троечниках» походит, — возразил мой дедушка. — От такой тройки побольше пользы, чем от иной пятерки.

— Как бог свят, — серьезно согласился дед Улагашев. — Известное дело, крестьянский прок должен входить не скоро, да зато споро.

И еще он говорит:

— По росе да прохладе косит наш дядя. А солнце над головой — он лежит в теневой. Солнышко на короточки присело — мужик на ноги встал.

И правда, по росе травы тяжелые. И подсекай их легче, и ложатся они ровнее.

А припекло солнце — все косари в тенек. Пообедают, поспят. А мы с Мишкой тем временем — на речку...

Невелика речка Чаруса. Да нам-то с Мишкой хватает. Звонкая, чистая. А главное — ледяная. Устал ты как не знаю кто, а бултыхнулся в нее — будто и косу в руках не держал.

Лежим мы с Мишкой возле омучка. Вода в омучке — слезинка.

То облака в омучок посмотрятся, то стрекоза брюшком по нему шлепнет. А на дне от всего проплывающего — тени. Изгибаются по камешкам, по затонувшим палочкам, листьям.

Дунет ветерок — и замечется парашютик одуванчика. Давай по воде круги и петли черкать. И тень его по дну замечется — жучки всякие врассыпную! Травинки, былинки, песчинки — все от них зашевелится. А немного погода все установится как прежде. Всколыхнулось и замерло.

Пригляделся я к одной палочке. Все уж

давно успокоилось, а она шевелится, с боку на бок переворачивается. И вдруг, на тебе — поехала. Едет по дну! Да против течения! Протер глаза — точно. Едет же палка по дну! На камешек взобралась, с камешка спускается...

— Мишка! — кричу. — Ты глянь, что за чудо такое!

— Жуки-то водяные? Уж и чудо. — Мишка лениво повернулся к воде.

— Какие тебе жуки, когда палка сама против течения! — и пальцем тычу на камень, с которого съехала палка.

Смотрит Мишка, а она, как нарочно, оставилась.

Мишка подумал, что я его разыгрываю, лег на спину и руки под голову, чтоб на меня ноль внимания. На облака уставился и размечтался.

А палка снова тронулась.

— Мишка! — обрадовался я. — Поехала! Поехала, гляди!

— Кто поехал? — вскочил Мишка.

— Палка.

— Да иди ты со своей палкой, — разозлился он, сел на кочку и опустил в воду ноги. Вдруг, как выдернет их из воды да закричит:

— Витька! Точно, палка ездит... Рогатая. И прямо к моей ноге.

— А где?

— Где, у ноги, — показывает на мутное облако, поднятое его ногами.

— А та совсем вон где ездил, — показал я в другую сторону.

— Вон где, вон где, — дернулся Мишка. — Вру, по-твоему? — И он нагнулся над водой. — Иди, иди сюда. — Вот она шурует, миленькая.

Точно. По дну ехала рогатая палка.

— А вон еще такая, гляди!

Почти все дно шевелилось. Все палочки, как попало набросанные, двигались.

— Мишка, что ж это такое?

— Я почему знаю... сейчас поймем одну, улавливать будем.

— А вдруг кусается.

Но Мишка уже запустил руку в воду и вытащил одну палочку.

— Э-э, да тут, оказывается, целая связка палок. Во... и на песчаную трубку наклеены. Домик чей-то! — Мишка аж подскочил от радости. — Смотри, смотри: трубка — это как раз «комната», а к ней вот эти самые «бревна» приколочены. И все вроде ежа сделано. Страху на кого-то нагоняет, — с уверенностью заключил он.

— Мишка, точно кто-то живет! — увидел я, как отверстие открылось и снова закрылось. — Там кто-то прячется!

— А я же говорю, — Мишка уже «взламывал» бревенчатое обиталище.

— Ты, Мишка, осторожней, вдруг кусается.

— Умел бы кусаться, не забрался бы в такой дровяник. Сейчас мы его вытурим отсюда. — И Мишка стал тыкать в отверстие домика травинкой.

В домике началась возня. Показалась коричневая мордочка, потом лапы, потом белые грудь и спина.

— Ага, голубок, не нравится. — Мишка сделал из этой же травинки петлю, накинул ее на «голубка» и потащил из конуры. Но тот цепко держался изнутри. Потом шлеп! И вывалился бело-зеленоватый червяк.

— Мишка, — пришла мне мысль. — Кинь его снова в воду!

— Ну и?.. — посмотрел на меня Мишка, потом на червяка.

— Посмотрим, где он такой дом находит.

— Во маковку! Профессор! — Мишка шлепнул ладошкой по голове. По моей, конечно. — Ну-ка, ныряй. — И Мишка спустил червяка в воду.

Тот засуетился по дну, дополз до первого попавшего камешка и исчез под ним.

— Нашел, — съехидничал Мишка. — Теперь его ищи-свищи.

Но червяк скоро выполз из-под камня и давай собирать все поильное, что подворачивалось на пути: кусочки листьев, ракушек, песчинки. Схватит, поднесет к мордочке, будто близорукий, осмолит, обнюхает, попробует «на зуб» и нацепит на себя. Опять схватит, то же самое поделает и новую детальку к старой приладит. И пошел, пошел... На глазах в какое-то безобразище превращался.

— Во, псих. Чей-то он, а? — Мишка посмотрел на меня.

Я только и мог плечами пожать.

— Гляди, гляди, весь заершился, залохматился... напаяливает на себя что ни попадя, — щурился Мишка от сосредоточенности.

— Напаяливает. Ага, — вдруг дошло до меня. — Да это же он дом и строит!

— Точно! — хлопнул себя по лбу Мишка. — А ну-ка посмотрим, как его тот дом сделан, — зашарился Мишка в траве. — Дудки. Затерялся где-то. Давай других ловить.

Поймали. У «моего» домик оказался из песка, кусочков коры, тростника, «бревнышек». А у «Мишкиного» из травинки. Да так ловко свитый — прямо шапка «казачок».

Выгнали мы и их в воду, а сами давай их домики разбирать.

— Витька, а гляди внутри-то... видал? Постель шелковая.

— Ага. У моего тоже. Как баре на перинах.

— Толковый хозяин — в хорошем доме, — раздался голос над нами. Это был дядя Леша, отец Мишкин. — Шитики объявились, — взял он у меня червяков домишко.

— Кто это? — спросил Мишка.

— Шитики, говорю. Ручейники. Блюда рыбных богов.

— Их рыбы едят? — удивился Мишка.

— За милую душу. — Дядя Леша скинул рубаху, расстегнул ремень и сел на бугорок снимать обувь.

— А домик как же?

— Пескарь или ерш знают: шитик вкусный, да домиком подавишься. А окунь или щука — те глотают его вместе с сараем. — Дядя Леша нагнулся пить. — Вода здесь — пей и никаких анализов не надо.

— А почему, пап, не надо анализов? — спросил Мишка, когда дядя Леша вдоволь напился и наполоскался.

— Шитики уже сняли анализы. Они живут только в чистой воде. Видели, наверно, что в его домике два входа?

— Видели.

— А ну, достаньте-ка одного.

Я запустил руку в воду и выловил своего шитика.

— Вот, — показал дядя Леша. — Видите, на брюшке у него три бугорка. Два сбоку и один сверху?

— Ага.

— Этими бугорками он распирается в своей квартирке. А на конце вот пара крючьев. Ими он цепляется за шелковую выстилку.

— Вот почему его, Витька, трудно тащить было.

— Ну, может, и не только для этого. С помощью крючьев на хвосте и бугорков на брюшке он хорошо подвешивается в своем домике-гнезде и работает брюшком, как мехами. Вода начинает двигаться. Насос получился. Бежит водяная струя, оmyвает шитика. Кислород ему нужен. Вот на спине у него, смотрите, на каждом брюшном колечке точки. Каждая точка — это, как бы вам, братцы, поскромнее сказать... Завод по отбору кислорода из воды. Гонит он струю воды и все из новых и новых ее порций кислород выбирает. Остановись эта струя — вот тебе и недостаток кислорода. Потому и живет шитик в чистой воде, что в грязной кислорода мало.

— Значит, он и не спит, — перебил отца Мишка.

— Почему?

— Если уснет — насос перестанет работать.

— Правильно, — задумался дядя Леша. — А как быть? Спать-то надо, — и лукаво посмотрел на нас, как в школе, бывало. Дядя Леша — учитель.

— Если бы запастись было можно, — подумал я вслух.

— Как ты его запасешь в воде? — Мишка руками развел.

— А как паук-серебрянка запасает.

— Во голова! — кивнул в мою сторону Мишка. — Может, у шитика тоже в этом шелку постельном... кислород накапливается про запас.

— Во, хитрец! — вырвалось у меня.

— Папа, а почему его шитиком зовут? — перешел Мишка к другому, оставив дело о кислороде, как вопрос, решенный нами.

— По-моему, потому, что домик у него... — дядя Леша умолк, раздумывая. — А ну-ка, са-

ми разгадайте.— И остановил взгляд на Мишкином «казачке».

— Шьет... шьет,— забормотал Мишка на разные лады.— Шьет, шьет! Вот! — И Мишка сунул мне домик своего «казачка». — Гляди, Витька, дом-то сшитый. Шитый... травинками, понял?!

— Шитый!

— Вот он тебе и шитик! — ликовав Мишка.— Эх, голова! — и опять шлепнул меня по макушке, будто это я догадался.— Папа, а чем он шьет?

— Этой же шелковой ниткой, из какой постель сделана. Она же у него и клеем служит. Обмажет он им «кирпичик», «бревно» и прилепит к основанию «здания». А через мгновение намертво схватилось. И это в воде. Хоть дерево, хоть стекло, ракушки, бумагу, травинки — хоть что клеит. А застыл клей — шелком сделался.

— Вот так клей!

— Нашим бы строителям такой, да?

— Фантастика.

— А что еще удивительного у шитика, папа?

— Удивительного? — дядя Леша пожал плечами.— Это попы да темные люди всему удивлялись, чудесами все объясняли.— Он сгреб нас обоих, стиснул, потом махнул рукой, садись, мол, на траву — и сам сел.— В природе, друзья, одно чудо царствует — необходимость. Появилась необходимость в том или ином приспособлении у животного или растения — создаст его природа. А вот что у нас иногда знанье не хватает объяснить... Вот, например, как ориентируются перелетные, преодолевая черт те какие расстояния;

прилетают-то прямо в свое гнездо. Ни карты, ни компаса, и спросить не у кого. Может, у них есть специальный орган. Все со временем объяснят ученые. Каждая мошка, травинка каждая — это целые природные заводы и фабрики. В одной букашке может заключаться труд десятка академий. Хоть вот шитика возьмите. Тут тебе и домостроительный комбинат, и шелкоделательный завод, и ткацкая фабрика, и газоводоснабжительная организация с химлабораторией. Поселите его в аквариуме и вместо песка насыпьте — ну, хотя бы стекла толченого. За неимением другого материала, то есть от необходимости, он вам такое сооружение создаст — на ВДНХ везите.

Мы переглянулись с Мишкой, и по тому, как у него загорелись глаза, я понял, что мы с ним думаем про одно и то же: принести шитиков домой и сделать такой опыт. Но тут же и вспомнили разом, что ни у него, ни у меня аквариума нету.

Дядя Леша это заметил и понял.

— Ребята, а как вы думаете, если шитику бросать разноцветные стройматериалы да порциями? По цветам. Сперва, например, красный, потом синий, желтый, а?

— Разноцветный дом будет! — обрадовался Мишка.

— Жаль, аквариума нету, — сказал я.

— Шитик и на стеклянную банку не обидится, была бы только в ней вода чистая и холодная да корму в достатке, — сказал дядя Леша.— А уж он в долгу не останется. Он еще много своих секретов вам покажет.

— Банка! — у меня аж сердце подпрыгнуло.— Банка стеклянная. Да этого добра у любого в доме полно!

г. МЫСКИ

Николай Карев

Лесные трофеи

ФОТОРАССКАЗ

Грибной сезон заманил в осенний лес многих любителей третьей охоты. Тенистые тропинки тихих березовых рощ с самого раннего утра наполнены громким ауканьем и возгласами грибников.

Кроме корзины захватил я в лес и фотоаппарат: вдруг что-нибудь встретится интересное. Торопятся в лесу грибники! Палочками в папоротниках пошвыривают, найдут грибок — взглянуть некогда, бросят в мешок или корзину — и дальше. Мне это не по душе. Перед красотой остановиться надо, а не складывать ее в мешок не глядя.

Пошел по лесу тихонечко, по-своему. Елочка навстречу — поклонюсь. Гриб попадется — налюбуюсь им, осмотрю со всех сторон, наведу объектив... Щелк! И двойная удача: гриб в корзине и на пленке на вечную память остался. Так ходить по лесу — радость. А где радость, там и доброта рядом шагает. Грибы любят, когда к ним уважение имеешь. Тогда они сами на тропинку выходят, любопытствуют. К каждому наклонюсь, поговорю,





трону ласково. Мухомора вот уважил, не раздавил, не отфутболил к кустам. Наоборот, желтым листочком шляпку украсил — и хороший портрет получился. Конечно, такое отношение всякому будет приятно. И пошли грибы мне навстречу!

Это — сыроежки. Они человека первые встречают. Неженки. Пока до дому в корзине доедут, помнутся, вид потеряют. А как в жаркое попадут — сладким вкусом о себе снова напомнят. А вот лисички. Яркие. Желто-золотистые. Грибочки маленькие, крепенькие, на дне корзины не помнутся... Это — грузди. Они в одиночку не растут, семейками собираются. Слово чайные блюдца разложила на зеленой скатерти добрая лесная хозяйка.

Хороши грузди, да не сравнятся им по красоте с красноголовыми подберезовиками. Гордо стоит иной щеголь среди молоденьких елочек. Подступиться к такому стесняешься. Есть, правда, из этого племени и поскромнее, и шляпка не такая красная. Около таких — оглянись только вокруг, целую ватагу «ребятишек» найдешь, из-под земли одна го-



ловка выглядывает, а сам-то с наперсток. Уж больно хороши они зимой в маринаде!

Ну, а если мухоморы показались, готовься — белые рядом. Вот один, вот второй... Все елочки обошел — нет больше. Только ведь меня не обмануть. Знаю, что белые любят большими семьями держаться. Да вот, смотрите. По двое, по трое под лапничком, за кусточками притаились — кто где. Пробежали мимо них торопливые неопытные грибники. А это совсем редкая удача! Не просто семья, а целое собрание! Во сне такое редко снится.

Еще реже попадаются белые боровики-великаны. Они настоящие чемпионы-тяжеловесы среди грибов. Вот этот, например, килограмма на два потянет, а то и больше. Тут и суп варить — не переварить, и на жаркое хватит, и на пирог. И все же его перещеголял вот этот великан. Захочешь такого в ведро уложить — не поместится, да и в корзине ему тесно будет. Едва-едва в кадр поместился.

Вот таковы мои лесные трофеи. А какие у вас?..

Из дальних странствий

Петр Ворошилов

РЯДОМ—МОНГОЛИЯ

Есть Монголия больших современных городов, сумевшая в короткий срок вырастить свой рабочий класс, подготовившая высококвалифицированные национальные кадры технической интеллигенции, ученых и деятелей культуры с мировым именем, Монголия, добывающая уголь и руду, вырабатывающая электроэнергию и разнообразную химическую продукцию, делающая станки, машины и приборы, поставляющая странам СЭВ мясопродукты, шерсть и кожи, изумительные ковры и ткани.

И есть другая Монголия — страна бескрайних степных просторов, суровых и неприступных гор, знойных пустынь, незамутненных рек и озер, страна аратов и хлеборобов, бережно хранящих самобытный опыт и навыки древнейшего народа, смело идущего по пути возрождения, по пути социализма.

Я рад, что мне в составе группы журналистов социалистических стран довелось повидать и эту, другую Монголию, ее Архангайский аймак.

СКАЛА ТАЙХОР

Там, где пройдет монгольский конь, там пройдет русский автомобиль. Там, где не пройдет конь, там все равно пройдет автомобиль. Это не просто слова, это — убеждения, заимствованные из практики. Снег шел десять дней, покрыв землю мягким, вязким покрывалом более чем метровой толщины. Архангайский аймак оказался отрезанным от центра. Грозил голод, массовый падеж скота. Тогда именно советские вездеходы проложили сюда трассу жизни, спасли людей и стада. Сопровождали колонну из 150 машин, поддерживали ее с воздуха вертолетчики. Они же доставили продовольствие и корма на все отдаленные кочевья.

Но в августе, когда нет дождей и ярко светит солнце, все дороги Монголии широки и

открыты. Наш газик, ловко управляемый веселым Доржгэвом, шустро бежит по верхогорью от одного далекого самона к другому, еще более отдаленному.

Едем кромкой горной цепи. Горы удивительные — ровные, словно волны, поднятые безветренной мертвой зыбью, с одной стороны они поросли лиственницей, с другой — голые, отливающие гладкой желтизной. Так вот, наполовину, брили головы каторжанам.

— Вырубили лес?

— Так всегда было, — отвечает сопровождающий нас переводчик Тумэн и предлагает выйти из машины.

Время к полудню. Солнце близкое, горячее обжигает лицо, а спине холодно под летними городскими пиджаками.

— Теплый, на вате, дэли хорошо, — говорит Тумэн. — У гор дэли такого нет.

Даже терпеливая монгольская лиственница, бесстрашно заселяющая осыпи, боится обжигать северные склоны, продуваемые неистовыми зимними буранами. Склоны эти — естественные пастбища.

Цецерлэг в переводе на русский означает город-сад, или просто сад. Административный, хозяйственный и культурный центр Архангайского аймака зажат в кольцо гор, надежно защищен ими от северных холодов и весь открыт жаркому полуденному солнцу. Здесь, кроме лиственниц и пирамидальных тополей, забко прижавших ветви к стволам, растут клен и береза, наши добрые знакомые — ягодные кустарники, даже яблони. Феномен природы: альпийские луга и румяные полукультурки на одной горе, первые — на самой ее вершине, вторые — у подножия, прямо на улицах, застроенных многоквартирными жилыми домами.

В Архангайском аймаке мало пахотной земли. Во многих местах под тонкой травяной подушкой открывается тысячелетний лед. Лето короткое, причем с резкими перепадами температур в течение суток. Здесь особенно благоприятные условия для развития животноводства.

Однако символом Цецерлэга стало не редкостное дерево сурового нагорья, не распластавшийся в намете пастушеский иноходец, а скала Тайхор.

...Страшный змей спускался к кочевкам Большого Тамира летом, когда поднимет над травой мягкие синие шарики мордовник, который монголы зовут конской губой. Чудище пожирало самых сильных юношей, самых красивых девушек. И не было от него защиты безоружному арату. Но услышал плач и сте-

нания людей богатырь Делегт, пришел в долину, поднял могучими руками огромную скалу и бросил ее на голову змея.

В Цецерлэге мы видали памятник Делегту. Побывали и у скалы Тайхор.

Стоит скала посреди просторной долины. До ближайших отрогов хребта, нависшего над левым берегом Большого Тамира, добрых полтора километра. Вот и думай, как она сюда попала? Конечно, геологи могут это объяснить, сослаться на работу воды и ветра, местного климата. А люди сложили красивую легенду, в которой выразили свою мечту о силе, способной защитить от врага, многоголовым чешуйчатым змеем вползавшего с юга.

А еще говорят, что под скалой Тайхор лежат навеки придавленные горе и нужда монгольского народа, живущего ныне счастливой, зажиточной жизнью.

Намсрайджав до кооперации считался середняком. Имел 150 голов скота. Теперь работает артельным пастухом. Считает, что стал богаче. Чтобы прокормить себя и семью, коров, лошадей и овец в личном пользовании у него достаточно и сейчас. Кроме того, он сам, жена и дочь получают в сельхозобъединении твердую зарплату. Юрта у них такая, какой в старые времена местный князь не имел. Дочка собирается учиться в институте. Об этом даже дети князя не мечтали. Главное же — несокрушимая уверенность в будущем: не в одиночку живет, а сообща. Вместе-то народ не только скалу, гору высочайшую поднимет.

На скале Тайхор сохранились следы письменности, которым насчитывается 1400 лет. Легенду о Делегте рассказывают на 14 языках. Но каждое поколение вкладывает в нее свой смысл.

ТРАКТОР НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Монголы любят коней. Любят увлеченно, самозабвенно. Бывает так, что мальчонка раньше начинает не ходить, а ездить верхом. Восемилетние джигиты участвуют в спортив-

ных состязаниях, умеют укротить степного скакуна. Сказания о табунных жеребцах передаются из рода в род, из поколения в поколение. К старинным былинам добавляются но-

вые, сегодняшние. Пастух Рагчаа, угощавший нас в юрте прохладным кумысом и на правах хозяина занимавший гостей разговором, достойным мужчин, рассказывал о жеребце, который на партизанских тропах Вьетнама сни-скал себе славу Храбрейшего и Неутомимого, а после победы, отпущенный на волю, прошел непроходимые джунгли, поднялся на недос-ягаемые вершины, переплыл бурные, как Орхон, реки и широкие, как моря, озера и вернулся в родной табун.

Коней бережно растят, как детей. Их сбрую украшают с тем же старанием и мастерством, с каким украшают пышные наряды красавиц-невест. Парень, кем бы он ни работал, не может рассчитывать даже на мимолетное внима-ние своей избранницы, если не умеет держать-ся в седле.

— Легконогую суженую пешком не дого-нишь, — говорят монголы.

В госхозе «Хархорин», награжденном орде-ном Полярной Звезды — ночной спутницы ко-чевого арата, на гранитном пьедестале уста-новлен наш безотказный землелепец ДТ-54, как вечный памятник мужеству, стойкости, братской дружбе.

Угодья госхоза раскинулись на десятках ты-сяч квадратных километров, занимая долину Орхона. Семь веков назад здесь была древ-няя столица Монголии Хар-Курум. В хозяйст-ве сейчас более ста тысяч голов скота, в ос-новном тонкорунные и полутонкорунные овцы. Крупный рогатый скот — мясомолочного на-правления, отличающийся, по местным поня-тиям высокой продуктивностью, неприхотли-востью. Разводят лошадей лучших монгольских пород и верблюдов. Держат свиней, птицу. Но гордостью совхоза, его славой являются 27 ты-сяч гектаров распаханной целины, которая стала житницей не только аймака, но и рес-публики. Ежегодно здесь собирается 12—15 тысяч тонн пшеницы, много фуража, овощей.

Все у них было очень похоже. Гомбосурен, председатель госхоза, бывший кадровый офицер, летчик. Окончил высшую партийную школу, имеет солидный опыт работы в пар-тийных органах, в том числе в аппарате ЦК МНРП. Первоцелинник. Его жена — руко-водит детским садиком. Городские ребята и по-

томственные пастухи, решившие стать хлебо-робами, они тоже зимовали в юртах, которые нечем было отапливать, учились пахать и се-ять, строить и хозяйствовать, пережили все трудности становления, испытали радость первооткрывателей. Так же зазывали в песнях девчат, обещая им горячую любовь и роман-тику великого дела.

И все было не похоже. Когда Сономтэл, старший брат Тумена, закончил сельхозинсти-тут и стал агрономом, отец подарил ему стар-ый замшевый кисет с двенадцатью кармаш-ками. Этот кисет сам он в свое время получил от отца своего отца. В кармашках были семе-на пшеницы, ячменя и проса, ссохшиеся, со-старившиеся, но живые.

— Мы сохранили. Теперь пришло время се-ва, — сказал Сономтэлу отец.

Молодой агроном посеял семена без всякой веры в успех, в порядке опыта. И они взошли! Дали урожай, дали тот генетический фонд, на который сейчас опираются многие монгольские селекционеры при выведении новых сортов зер-новых. А для Сономтэла отцовский кисет стал первой страницей к его кандидатской диссер-тации.

Запрет на обработку земли был наложен ламаистской религией, этой наиболее изощ-ренной идеологией порабощения и парази-тирования. Монгол почитал настоятеля монасты-ря, как живое божество, на сооружение свя-щенных сурбаганов отдавал последнюю коро-ву, терпел нужду ради счастливого перерож-дения после смерти. Даже любовь к детям ре-лигия использовала в своих целях. Согрешив-ший не только себя, но и весь свой род до третьего колена, обрекал на адские муки и мог рассчитывать на новое рождение в виде поганой собаки. За благо считалось непротив-ление злу и насилию, жертвенность, терпели-вость, всепрощенчество и угодливость. Роди-тели отдавали в послушники ламам своих пер-венцов-сыновей, чтобы иметь постоянного за-ступника перед всемогущим божеством. Мон-гол шел по родной степи в сапогах на мягкой подошве, с загнутыми носками, чтобы случай-но не потревожить камень на дороге, увешив-вал амулетами встречные деревья, подноше-нием благодарил бурхана за то, что помог

подняться на гору, перейти вброд реку. В Хархорине сохранились остатки древних ирригационных систем, красноречиво свидетельствующие о сравнительно высокой культуре земледелия. Но в 1956 году, когда начался массовый подъем целины, старики в белых саванах еще выходили навстречу тракторам и ничком ложились в борозды. Их уводили под руки. Распахивалась не только захрясшая в камень степь, перепаживались освещенные веками традиции и обычаи. А это тоже сложно и трудно.

Не было своих машин. Не было таких простейших орудий труда, как грабли, вилы, кося. И не было умения, сноровки пользоваться ими. Машины, опытных специалистов прислал Советский Союз. Мукомольную мельницу — венгерские друзья. Болгары поставили оборудование для комбикормового завода. Все вместе помогли освоить эту современную технику, подготовили специалистов.

Вместе с общественным арат пасет и свой скот. В личном хозяйстве, согласно Уставу сельскохозяйственного кооператива, семья держит десяток дойных коров, столько же лошадей, до тридцати овец. В целинных госхозах производство сразу было поставлено на промышленную основу. За свою работу человек получил денежное вознаграждение. И надо было привыкнуть к тому, чтобы продукты питания покупать в магазине, питаться в столовой, правильно планировать семейный бюджет.

Они все сделали как надо. Построили новый город в степи. На земле, поднятой на полторы тысячи метров над уровнем моря, где

нередки поздние весенние и ранние осенние заморозки, научились выращивать устойчивые урожаи пшеницы по 12—15 центнеров с гектара. Более трехсот работников госхоза «Хархорин» награждены орденами, двое удостоены звания Героя МНР. Вырастили кадры, овладевшие современной агротехникой полей, получили практический опыт, который затем использовали в процессе организации новых хозяйств. Республика сегодня имеет свой хлеб. За 15 лет посевные площади увеличились в десять раз, валовые сборы зерновых — в 12 раз. Выращиваются также овощи, картофель, кормовые культуры.

Ринцэн, секретарь парткома госхоза «Хархорин», сопровождавший нас в поездке по полям, подробно рассказывал о севооборотах, обучении механизаторских кадров в местном техническом училище, о безотвальной, без оборота пласта, целинной вспашке, о сбалансированных по белку кормах, наконец, о том, что коллектив решил строить животноводческий комплекс, который позволит ликвидировать зимнюю пастьбу, поднять продуктивность скота, покончить с неуютом кочевой жизни арата. И были это не мечты, а уже планы, рассчитанные по годам, основывающиеся на быстро растущих доходах хозяйства, ориентированные на нынешние потребности людей.

Над полями, распугав вездесущих степных коршунов, деловито урча, кружились самолеты. Массивы пшеницы обрабатывались гербицидами.

— Кругом же луга, — пояснил Ринцэн. — Приходится вот так защищать пшеницу от сорняков. Самолет тут просто необходим.

ЯКИ ИДУТ В ГОРЫ

На покато́м склоне, среди гранитных валунов стадо яков разглядишь не сразу. Выдают его шаловливые телята, заметно подросшие к концу лета. Игривые создания все как один одеты в шерстяные мини-юбочки. У солидных коровьих матрон в моде уже макси, сами горные быки носят роскошные мантии, волнистой бахромой ниспадающие до копыт. Попытку

приблизиться к ним пресекают сарлыки — рогатая воинственная охрана стада.

На степных просторах Монголии пасутся миллионные стада — главное богатство страны. поголовье скота постоянно растет. В основе этого необратимого процесса лежит кооперирование сельского хозяйства, интенсификация животноводства. Сохранились традици-

онные перекочки с летних пастбищ, расположенных обычно по долинам рек, на зимние горные, где снег не залеживается, сдувается ветром. Теперь создаются страховые запасы кормов. Поэтому редки стали случаи массового падежа — в период предвесенних гололедов. Проводится большая селекционная работа, появляются высокопродуктивные породы, полученные путем скрещивания. Многие делается в целях окультуривания угодий, в частности, устройства водопоев, закрытых кошар для овец. Применяется подкормка трав удобрениями, улучшается путем подсева ботанический состав альпийских лугов. Характерно, что переход животноводства на качественно новую ступень осуществляется в добром согласии с местной природой, богатейшим народным опытом, климатическими условиями.

Там, где от бескормицы, лютой стужи, непролазно глубоких снегов погибает даже неприхотливая монгольская овца, яки чувствуют себя превосходно и легко находят все необходимое для жизни. Заведующий фермой Мягмаржав рассказывает о них уважительно, как о близких ему людях. Характер у яка веселый, общительный, бодрый. К хозяину он добрый, ласковый. Но чужих не любит, обязательно прогонит. Неустрашимо защищает пастуха и стадо от волков. Живет 16—20 лет. Отлично идет под седлом. Рысь мягкая, как у иноходца. Скорость — до двадцати километров в час. Это — в горах, где самая выносливая лошадь выглядит беспомощной. Бык весом до 700 килограммов с ловкостью козы карабкается по снежникам и горным кручам, молодняк за год набирает вес до центнера. Места обитания — высокогорье. Период лактации у коровы короткий. Надаивают за сутки по 2,5—3 литра молока. Сарлыки, помеси яка и коровы, дают по 5—6 литров. Вроде немного. Но жирность молока составляет 10 процентов, в нем полный набор витаминов и микроэлементов. Ведь в букете альпийских лугов ученые насчитывают до 270 наименований различных трав. Из молока яка приготавливают кушанья 14 наименований, в том числе лечебные напитки, которые хорошо снимают усталость, помогают побороть бессонницу, защищают от мороза. Прибавьте еще полтора

килограмма мягкой и прочной шерсти, получаемой за одну стрижку. Из пушистой кисти хвоста яка делают лучшие в мире парики и шиньоны. Годится для этой цели и мантия, при жизни служащая этим удивительным животным теплой переносной постелью. Сытый як при сорокаградусном морозе спокойно спит на снегу.

Стадо тарнатских яков — крупнейшее в мире, насчитывает 16 тысяч голов, и служит основой жизни и благосостояния населения одного из самых высокогорных районов республики. Чистая прибыль сельскохозяйственного объединения превысила два миллиона тугриков в год, заработная плата чабанов за пять лет увеличилась на 49 процентов, основные фонды хозяйства — без малого на 9 миллионов тугриков. Обустроены 174 зимних пастбища, оборудованы первоклассные ветеринарные пункты в бригадах. Обжитым, уютным, благоустроенным выглядит поселок объединения. Есть в нем школа-десятилетка, клуб, больница, богатая библиотека, музей, детские учреждения.

Закончилась утренняя дойка. Комолые коровы, взяв в плотное кольцо невыразимо кучерявых и пушистых телят, следом за могучими вожаками трогаются в дальний путь. Даже здесь на подсушенной солнцем равнине, поднимающейся на две тысячи метров над уровнем моря, яки не любят задерживаться. Стадо уходит в родные горы, где до сих пор еще живут их дикие собратья, тоже благоденствующие под надежной защитой друга — человека. Охота на них строжайше запрещена.

Мягмаржав показывает на группу животных серебристо-серого окраса. Они его гордость, племенное ядро новой породы яков, выведенных учеными совместно с животноводами объединения. Серебристые яки крупнее, дают больше молока, плодovitее.

Вечером мы угощались архи — подогретой водкой из молока яка, сдобренной к тому же сливочным маслом.

— Выпьешь и не захмелеешь, — улыбаясь, потчевал хозяин. — Сильным будешь. Далеко пойдешь и не устанешь. На снегу уснешь и не замерзнешь.

ГОСТЯ ВСТРЕЧАЮТ КУМЫСОМ

— Как того козла забивают, не знаю, врать не буду. Потрошат, конечно. Мясо и кости вынимают, рубят крупными кусками и обратно в шкуру складывают. Положат в шкуру кусок мяса, и следом, туда же, раскаленную на костре гальку. Еще — кусок, и опять — гальку. Потом шкуру зашивают и все это на вертеле обжаривают.

— Вкусно?

— Что вы, парни, есть это, разумеется, нельзя.

Так напутствовал нас один приятель, который сам в Монголии не был, но, как он заявил, наслышан о ней был предостаточно. Перед поездкой в Архангайский аймак две внушительные палки копченой колбасы я в Улан-Баторе на всякий случай прихватил; вес не велик.

Монголы свято чтут законы гостеприимства. Прошло время, когда на кочевке гость был основным источником информации. Теперь в каждой юрте по два транзисторных приемника и еще один — у седла, в переметной сумке. На кочевке — коротковолновые радиопередатчики. Регулярно доставляют газеты и журналы. Приезжает кинопередвижка. Но все это не может заменить радости живого общения людей. Да и не должно заменять.

Гостя встречают полной чашей кумыса таких внушительных размеров, что невольно испытываешь чувство трепета. А за первой чашей полагается и вторая, и третья. Способ приготовления напитка скотоводов у всех один, домашний способ. Но вкус и аромат разный. Ведь любая хозяйка, кроме общих, обязательных компонентов, кладет в заветный бурдюк и частицу своей души, уважения к людям, мастерства.

Жажду утоляют остуженной кипяченой водой с молоком. И вообще, летний стол — в основном молочный. Цельное и квашеное молоко, масло, творог, сыр. Твердокаменный сыр. Для наших изнеженных зубов работа, должен

признать, непосильная. И восхитительные, тающие во рту, свернутые в фигурные трубочки молочные пенки! С изюмом или голубикой! В достатке в юрте муки, риса, пшена, ячменного толокна. Ели мы жирный, густо наперченный плов и сладкий плов с черносливом, черный суп из крошеного мяса, заправленный диким луком, шашлык из барашка, нежнейшую говядину, отваренную на медленном огне, жаркое из филе яка, жареную рыбу, которую ловили сами. И всюду пили огненно горячий, густой, чуть подсоленный, заправленный маслом или кусочками сала монгольский чай — традиционный спутник обстоятельного делового разговора.

Маршрут нашей группы был согласован с коллегами в Улан-Баторе, и, надо полагать, щедрых хозяек заранее предупредили о предполагаемом визите. Всякий раз, кроме подчеркнуто национальных, подавалось и блюдо обычной европейской кухни, включая жареный соломкой картофель. Удивляло другое. Нельзя же в самом деле за какие-то пару дней научиться делать настоящие сибирские пельмени. Это же целое искусство. Но все объяснилось просто.

— Мы часто принимаем русских гостей, — сказала Жидху, лучшая доярка Архангайского аймака, которая к тому же, оказывается, закончила строительное училище в Новокузнецке и профессию переменяла после замужества.

Первым председателем объединения «Северный путь» был Дэмид, впоследствии народный Герой, Маршал Республики. У первого председателя был первый помощник — Симанов. Первым врачом здесь был русский врач, Немой. Он погиб во время кулацкого восстания. Монголы произносят его фамилию иначе — Нема, что означает Воскресение.

И так в каждом сомоне, в каждом анле. Народ знает, помнит тех, кто стоял рядом в самую трудную минуту, как старший брат, и

в годы революции, и в тревожные дни Халхин-Гола, и в 1945-м победном году. Помнит русских врачей и учителей, геологов и строителей, шахтеров и инженеров, агрономов, почвоведов и лесоводов, которые работали когда-то, которые работают сейчас.

В Цецерлэге мы побывали в местной средней школе, построенной в дар монгольским ребятишкам Советским Союзом. Это не просто символ дружбы, это и отличное учебное заведение с просторными светлыми классами, учебными кабинетами и лабораториями, оснащенными необходимыми приборами и пособиями, с кинотеатром, актовым залом, физкультурным комплексом. Школа рассчитана на 1400 учеников. При ней интернат, напоминающий хорошую гостиницу, отличная столовая, мастерские. Во всех помещениях лампы дневного света, принудительная вентиляция. Встречали нас ребятишки в национальных ко-

стюмах. Однако и в джинсовых брючках десятиклассники чувствуют себя вполне уверенно. Учатся в школе ребята из девяти окрестных сомонов.

Монголы любят зеленый цвет лугов и голубой цвет неба. Крыши в городе, стены домов, одежда людей, конская сбруя раскрашены в эти цвета. Народные традиции не нарушены и при отделке школы, она выглядит не только новой и нарядной, но и принадлежащей именно этому городу, здешнему архитектурному ансамблю.

Однажды я рассказал председателю объединения Намжигу о напутственном слове приятеля. Вместе посмеялись. А вечером нас потчевали козлом, разрезанным и приготовленным в соответствии с истинно монгольскими рецептами. Подали его на стол целиком. Как убедить маловеера, что это было вкусно? Самому надо попробовать!

ВЕРСТЫ ЧУДЕС

Кто из мальчишек не мечтал, об эдельвейсах — загадочных цветах гор, увидеть которые суждено только ловкому, сильному и смелому, решившемуся вскарабкаться на головокружительную высоту, где трудно даже дышать?

Мы приехали на поляну эдельвейсов в машине, со всеми удобствами. Далеко внизу — глянешь и голова кружится — под отвесной скалой в могучем водовороте свивался голубой Орхон. Из широкой расщелины с грохотом рушился водопад. Одинокое облако колыhalось рядом, хоть рукой его трогай. И дышать было трудно, чувствуешь себя вроде после длительной пробежки. Но эдельвейсы здесь росли сплошными куртинками, серые, невзрачные скромники. Врать их не хотелось. В страну чудес мы только еще въезжали.

На просторной равнине стоит монастырь. Ему шестьсот лет. Не столько время, сколько манчжурские завоеватели разрушили его, разграбили надворные постройки. Осталась высокая белая стена, образовавшая эллипс, и ажурные башенки на ней. Нашли смотрителя здешнего музея. Он не говорил: «Сезам, откройся»,

обычным ключом открыл обычный амбарный замок, и мы вошли в сказочную пещеру сокровищ. Здесь не было россыпей золотых монет, не лежали горами драгоценности, хотя массивные бурханы, как сказал Тумэн, были из чистого золота, а камни, их украсившие, были настоящими рубинами и сапфирами. Ценнее их были древнейшие произведения искусства — тканые ковры с изображенными на них бытовыми и батальными картинами, шелковые gobелены с тончайшей вышивкой, посуда из благородных металлов, изделия из дерева, камня и кожи, воплотившие в себе талант народа-умельца, разнообразные настольные игры, музыкальные инструменты, фигурные орудия труда.

Надо заметить, что музей — обязательная принадлежность каждого сомона. В них хранятся не только произведения искусства. Нам показывали изощренные орудия пыток, которыми пользовались китайские чиновники при взимании налогов, старинное оружие, орудия труда, охоты, предметы бытового обихода. В Цецерлэге есть музей местной флоры и фау-

ны. Смею вас уверить, что такое богатейшее собрание представителей животного и растительного мира встретишь нечасто.

Видели мы и живые экспонаты в их родной стихии: стан журавлей, не поддающиеся счету, сухопутных чаек, ростом с нашего гуся, величественных и недосигаемых в высоте грифов и коршунов, диких уток, невозмутимо, по-домашнему отыскивающих корм на задворках айлдов, жирных голубых тарбоганов, клыки которых на валютном рынке идут в одной цене со слоновой костью, бесстрашных летом лисичек. В машине на всю компанию была у нас удочка. Леска — 0,5, крючок 12-й номер, в кулак поплавков. От нее с презрением отвернулся бы даже оголодавший за зиму томский песткарь. И этой снастью, больше смахивавшей на пастуший кнут, из любой встречной речонки, причем прямо с моста, можно было, не сходя с места, выудить дюжину хариусов. В горном озере с прозрачной родниковой водой, удобно устроившись над обрывом, мы ловили красноперых окуней, подавая насадку самым крупным экземплярам. А рядом сынишка председателя сомона на обычную закидушку, оснащенную блесной, одну за другой вытаскивал озерных прогонистых щук чуть не с себя ростом.

Есть в Монголии настоящая охота, строго регулируемая охота на горного барана и оленя, барса и медведя, кабана и соболя. Есть и настоящая спортивная рыбалка на пудового тайменя.

По осыпи из черных пористых камней опускались в жерло потухшего в незапамятные времена вулкана Хорго. На осыпи растут деревья. Но жар глубоких недр ушел не совсем, чувствуется. Зимой на склонах вулкана не держится снег. Отлично прижились здесь наши добрые знакомые: кедры, сосны, осины, березы.

Незабываемое впечатление производит каменный каньон Чулута. С высоты в сто с лишним метров река кажется узкой и мелкой, но грозный ее грохот, усиленный эхом, тут же напоминает, что Чулут — каменная река.

Посетили мы прабабку здешних лесов — восьмисотлетнюю лиственницу, на которой на-

считали 16 стволов, отходящих от одного пня, и ровно сто крупных сучьев. Любовались рекой Суман, стремительной и неукротимой. У нее нет изгибов и поворотов, это река-стрела, не замерзающая даже зимой.

В неоглядной степи, где не увидишь ни дерева, ни кустика, собирали грибы, растущие по кругу, как и наши маслята.

Видели звезды Монголии, непривычно многочисленные, крупные и яркие.

Два дня провели в Тариате, который зовут Монгольской Швейцарией, где, как поется в песне, самые красивые горы и самые красивые голубоглазые девушки.

Нам дарили цветы, которые не вянут и не теряют запаха. Показывали службу в действующем ламаистском монастыре. Высокими голосами пели горные и тягучие, как степная дорога, песни. Мы посетили настоящий паноптикум ящеров, вымерших миллионы лет назад, любовались срубленным из лиственницы дворцом Бого-Гэгена, ставшим жемчужиной мирового зодчества.

Чудом является сама монгольская юрта, удивительно цельно вписавшаяся в местный пейзаж, приспособленная к резко континентальному климату. В ней прохладно жарким днем и тепло холодной ночью. Под свой гостеприимный кров она уже взяла предметы современного быта, включая полированные мебельные гарнитуры, газовые плиты и холодильники, оставшись, как и прежде, легкой и подвижной при обязательных пока перекочевках аратов. Таких перекочевков бывает до десяти за лето. За две недели скот выстригает пастбище, и снова — в путь, в другую долину.

Ночевали мы в юрте-дворце, где могут разместиться сотни людей и смотреть кино, слушать концерт, провести собрание.

Версты чудес, гостеприимные приветливые версты. И все это — рядом. Знаменитый Чуйский тракт начинается ведь в Алтае. Машиной можно ехать до самого Улан-Батора, как раз через Архангайский аймак. От Иркутска до столицы Монголии полчаса лета в комфортабельном воздушном лайнере.

Литературные портреты

Анатолий Бакалов

От первого лица

«Суть его творчества все та же: человечность, гражданственность, глубокая любовь к природе, к родному краю, к реке Томи...» Так в 1975 году поэт Игорь Киселев охарактеризовал творчество Геннадия Юрова, автора вышедшего тогда поэтического сборника «Долина в сентябре». С тех пор прошло пять лет, Г. Юров опубликовал еще один — свой пятый — сборник поэм «Песня о городе» (Кемерово, 1978) и еще одну книгу очерков «Река родная» (Кемерово, 1979), а данная его собратом по перу характеристика остается в силе: суть его творчества все та же!

Геннадий Юров продолжает оставаться писателем одной главной темы: родной кузнецкий край с его красотой, индустриальной мощью и с его проблемами. Эти проблемы автор затронул уже в первом сборнике «Синий факел» (1964), и с тех пор ни в одном из своих произведений, будь то лирическая миниатюра или публицистический очерк, он, если воспользоваться выражением Михаила Светлова, «не покривил темой». И новизна последних книг — не тематического характера. Это новизна более глубокого, более зрелого взгляда на проблемы своего края. Книги проникнуты тревогой за то, что человек в благой своей созидательной деятельности порой походя и бездумно губит природу, сыном которой является. Вырубаясь под корень прибрежные леса, загрязняются реки, воздух. Защите окружающей среды посвящена без малого вся публицистическая деятельность Юрова-журналиста.

И публицистика, и лирическая поэзия Юрова рождаются от одних и тех же впечатлений, поэтому нередок тематический и образный па-

раллелизм в его поэзии и прозе. Однако при всей важности экологического аспекта в последнем поэтическом сборнике не он определяет стержень всей книги. Прежде всего это — песня о городе лирического героя, строившего город и взрослевшего вместе с ним.

В зарубежном литературоведении бытует термин «роман развития». Термин этот означает произведение эпического жанра, в котором прослеживалось бы становление главного героя от истоков до достижения им зрелости. Таким своеобразным «романом развития» предстает перед нами поэтическое творчество Геннадия Юрова. Прочитавший всю его лирику получит представление о биографии, этапах развития героя, о его детстве («Последнее представление кемеровского цирка», «Песня о бумажном змее»), юности («Берега»), о его «университетах» («Борискин ключ», «Альма матер»), о его любви и о биографии его души.

Каждая поэма — это этап жизни, ступень зрелости героя и одновременно глава «романа», который пишется вот уже 15 лет и представляет собой цельную структуру, хотя «главы» его появляются и не в хронологической последовательности. При этом из него не выпадает даже такая «особенная» поэма, как ранняя «Снегурочка», ибо это «лирическое отступление» представляет собой раздумья лирического героя, этап формирования его мировоззрения.

Помимо автобиографизма, поэмы Г. Юрова «сцепляются» еще и чисто музыкальной техникой контрапункта, когда одни и те же мысли и мотивы не только пронизывают отдель-

ные поэтические «главы романа», но и цементируют «роман» в целом.

Так, еще в «Синем факеле», этом раннем и еще не очень характерном для Г. Юрова стихотворном сборнике, появляются мысли, которые будут развиты позже: тема красоты



природы («Боярка») и уничтожения этой природы во имя человеческого жизнеустройства («Исчезнувший остров»). Они найдут развитие в поэме «Притомье» из последнего сборника, причем сходны не только сама постановка темы, но и способ ее разрешения. При всей своей непримиримости к злу в любых его проявлениях автор никогда не рубит сплеча, но всегда стремится объективно разобраться в причинах того или иного факта. И если зло продиктовано необходимостью, носит временный характер, поэт может его понять. Так, в поэме «Берега» (1970) есть строки:

Нет родимых берег.
Как солдаты,
Погибли они на войне.

В «Притомье» звучит та же мысль об исторической оправданности жертв. Она же еще не раз повторится уже за пределами собственно поэзии — в очерках Г. Юрова. Однако

нелегко дается ему подобноеприятие. Вместе с возрастом и опытом приходит переоценка ценностей, более трезвый и мудрый взгляд на пережитое. Если в стихотворении 1964 года исчезновение речного острова, отдавшего свою гальку на строительство города, трактуется как оправданная обстоятельствами жертва, то уже 10 лет спустя в книге «Труженица Томь» в том же факте поэт увидит неразумное отношение к природе в черте города.

Эпическая поэзия Г. Юрова тяготеет к цикличности, и это еще одно доказательство ее цельности. Достаточно рассмотреть оба его последних поэтических сборника, чтобы увидеть как целостность каждой из поэм в отдельности, так и структурное единство книг в целом, а вместе с тем и цельность поэтического творчества Г. Юрова.

В сборнике «Долина в сентябре» три поэмы, первая из которых — «Берега», — опубликованная впервые еще в предыдущем сборнике 1970 года, уже несла в себе в конспективном виде темы будущих поэм.

Название сборника — «Долина в сентябре» — кажется искусственно привнесенным извне, однако это лишь на первый взгляд. Тема осени как поры зрелости проходит нитью связующей через все три поэмы:

...Я тороплюсь,
Я все просрочил сроки («Берега»);
...Мой возраст ставит точки жестко
(«Борискин ключ»);
...И вот я начинаю устывать,
День перезрел и лето на излете
(«Альма матер»).

Тему сентября несут стихотворные вступление и заключение к сборнику, осеннее настроение образует и осевую линию книги. Осенью отыскивает свой золотой клад Бориска, и не случайно середина этой центральной поэмы запоминается очень необычным развернутым поэтическим образом кричащей осени:

Заплакало дождями небо,
Заплакали дожди навзрыд.
Зловеще,
исступленно,
немо
Природа осенью кричит...

Три поэмы сборника представляют собой три ступени гражданского возмужания героя.

Пройдя через горечь непризнания и пустив по воде бумажные кораблики своих стихов («Берега»), он уезжает на Колыму, в суровый край отважных людей и золотиносных жил, где «чернорабочим от газеты» открывает для себя золотые россыпи людских судеб; одновременно открывая в себе поэта («Борискин ключ»). Недаром мудрый Учитель предостерег его надежды:

Делайте судьбу.
Где нет судьбы,
Там и поэта нету. («Альма матер»).

И лишь пройдя школу доброты и мужества, лирический герой Юрова паломником возвращается в аудитории родной Альма матер, чтобы сдать экзамен за семестры пройденных испытаний, осмыслить себя, провести черту между сентяблями прошлыми и будущими.

Тема поиска — один из структурных элементов сборника. В «Берегах» герой ищет себя, в «Борискином ключе» речь идет о поисках «золотого оленя» — драгоценных россыпей как в буквальном, так и морально-этическом плане. В «Альма матер» отыскивается смысл жизни, увиденный лирическим героем в том,

Чтоб государства золотой запас
Вобрал крупицу,
Добытую мною.

Недаром через все три поэмы проходит мотив геологического лотка как инструмента поиска и идущее еще от патриархов советской поэзии сопоставление труда поэта с ремеслом старателя:

...И ко всему, с чем был знаком,
Я подхожу с одною меркой —
Геологическим лотком («Берега»);
Конспект по сути родственник лотка,
Берущий в книгах золотые пробы
(«Альма матер»).

Теме поиска посвящена целиком центральная поэма «Борискин ключ». Она выделяется в творчестве Г. Юрова необычной архитектурой. Если его остальные поэмы лирические по преимуществу, то в «Борискином ключе» сильна параллельно проходящая эпическая линия: рассказ о подвиге русского мужика Бориски, открывшего, согласно преданию, колымские месторождения золота. Отсюда и временная двуплановость поэмы, где оба плана сходятся на теме эстафеты мужества, доброты и

верности долгу человека, покоряющего дикую природу.

Две эпохи поиска сопоставимы настолько, что после ликующего «Есть!» Бориски, обнаружившего в своем лотке первые золотые блески, поэт сразу же заглядывает в сегодняшний день:

Свершится: мерзлоту разверзнув,
Земля откроет кладезь свой,
И Эдуард Петрович Берзин
На север поведет «Дальстрой».

И в этих строчках с их аллитерирующими «р» и «з» ухо слышит и скрежет экскаваторного ковша будущих разработок, и звон разрезаемой мерзлоты.

История первооткрывателя Бориски, ценою жизни давшего потомкам золото, стала для поэта историей путеводной. Недаром, примеряя жизнь отважного покорителя Севера на своего лирического героя, поэт призывает:

Учитесь мужеству и чести
У ветеранов-колымчан...
Умрите их великой смертью,
Чтобы остаться средь живых
(«Глава Признаний»).

И недаром в своем следующем поэтическом сборнике «Песня о городе» Г. Юров продолжит эту тему, введя в поэму «Последнее представление Кемеровского цирка» образ Михайлы Волкова, первооткрывателя кузнецких углей, основы могущества индустриального Кузбасса.

Не все в «Борискином ключе» равноценно. Конец поэмы грешит, пожалуй, известной декларативностью, содержит не так уж много поэтически свежих мыслей и вообще выглядит «усталым» по сравнению с начальными главами и на фоне следующей «Альма матер», лучшего из всего, что создано пока Геннадием Юровым в этом жанре.

Его повзрослевший и возмужавший герой возвращается в свою недавнюю и теперь уже далекую студенческую юность. Альма матер в одноименной поэме — это не просто Томский университет, а именно «Кормящая мать», существо почти одушевленное, герой на своем колымском Севере-Востоке получает приветствия не «из», а «от» Альма матер. Но он опоздал на экзамен. Пока он постигал науку жизни,

из жизни ушли люди, научившие его «делать судьбу», не остаться «за обочиной дорог», «на должность и на чин не разменяться». Опоздал!

Как страшно опоздать
К любимым людям
Сокровенным словом!

Геннадий Юров — поэт и журналист — тяготеет к истокам сущего. Не случайно в его творчестве столь большую роль играет образ родника, ключа, источника.

Где берет начало река Томь?

Г. Юров (а за ним и его герой) пройдет десятки километров по опасным таежным распадам горной Хакасии и напьется из первоисточника.

Где начинается Россия?

Поэт (а за ним и его герой) уезжает на Крайний Север, на Чукотку и там на берегу Чаунской губы потрогает рукой тот первый камень Родины.

Приход к Альма матер — это встреча с юностью, с истоками самого себя. Под шелест страниц в читальном зале университета закладывалась судьба героя и его сверстников. «Делайте судьбу!» Но какой она должна быть?

Рука рисует
Одиноким парус...

Юровские паруса — это и бумажные кораблики, поплывшие к океану в поэме «Берега», и золотой олень Бориски, и бумажный змей далекого детства в поэме «Песня о бумажном змее», ибо это романтическая добрая мечта, извечная тоска по совершенству. Именно добрая. Стихи Геннадия Юрова зовут к чуткости и человечности: не опоздай с добротой, «Не раздели самодовольный жест//Чужую репутацию жующих», «ударить словом — равнозначно ткнуть//Ножом...» Страдания мира от века проходят через сердца поэтов. Чужие беда и боль не могут не стать собственными.

В критике уже отмечено, что Г. Юров всегда отталкивается от жизненных, а не от книжных впечатлений. Да, но и от фольклорных тоже. При всей ее интеллектуальности и гражданственности поэзия его близка к первоисточникам народной образности. Ключ с живой водой, река с берегами удачи и мечты, легендар-

ный герой, преодолевающий препятствия и дарящий людям своего золотого оленя; герой на перепутье («А я живу на перекрестке//Событий, судеб и дорог») — все это от народной сказки. Отсюда же и пристрастие к народно-песенной и народно-сказочной магии чисел: к числу 3, а то и 7 (семь глав «Борискина ключа»). У героя «Альма матер» три учителя, давшие ему три напутствия, его мучают воспоминания о трех эпизодах его северной эпопеи. И если где-то у поэта встречаются перечисления, то перечисленных вещей или явлений будет, как правило, тоже три.

Сборник «Долина в сентябре», отличающийся самоценностью и цельностью структуры, тем не менее не замыкается в себе, и его «открытый финал» протягивает руку следующему циклу поэм. Эта открытость книги видится в заключительной главе «Альма матер», где поэт говорит:

Нетерпеливо ждет выпускников
Моя индустриальная долина.

Герой Юрова, отряхнувший в поэме «Берега» с ног прах родины, но не порвавший с ней связи, еще не завершил в пределах сборника своего к ней возвращения. Окончательное возвращение на кузбасскую землю состоится лишь в пяти поэмах последней книги Г. Юрова «Песня о городе».

Их объединяет прежде всего тема, содержащаяся уже в названии сборника: родной город, Кемерово с его топонимическими реалиями. Другая главная тема — детство лирического героя. Она, по сути дела, впервые появляется в поэзии Г. Юрова. Это трудное, «на тощих маминих зарплатах», военное детство, встающее из глубины памяти. Вот оно, как на праздник, поднимается на галерку городского цирка, вот оно в мечте о небе запускает бумажного змея или спешит «...на зов аэродрома,//Чтоб прикоснуться к самолету». Это то самое детство, в котором проходили первую закалку сверстники поэта, поколение мартемьяновых, тоскующих по совершенству.

Две поэмы сборника имеют особое композиционное значение: начальная — «Последнее представление Кемеровского цирка» — и замыкающая — «Я строил город».

Первая поэма замечательна тем, что в ней содержатся в зародыше все проблемы, которые будут развиты в остальных четырех. Глава «Арена» посвящена цирку, то есть собственно теме всей первой поэмы. Глава «Берег» содержит столь важную для творчества Г. Юрова тему родины, которая будет развита в поэмах «Притомье» и «Прощай, сосновый бор». Глава «Полет» тематически перекликается с «Песней о бумажном змее», а четвертая глава — «Память» — с ее темой детства, становления человека близка к поэме «Я строил город», в которой итожатся воспоминания детства, юности, любви, думы о природе и городе. Подводится итог раздумьям об этой прекрасной и такой противоречивой жизни, где всякое явление имеет свою обратную сторону, где свет невозможен без тени, радость — без боли и где конечный результат устремлений никогда не равен идеалу:

...Хотел мелодии безоблачного дня,
Напева мира в самолетном гуле...
Но школьники
У Вечного Огня
Сменяются в почетном карауле...

Немаловажную роль в структуре сборника играют три динамичных, афористически заостренных стихотворения о городе — своеобразные интерлюдии между поэмами. Выросли эти стихи из поэмы «Последнее представление Кемеровского цирка». Как составная часть этой поэмы, они уже частично публиковались раньше на страницах областной газеты «Кузбасс» (14 ноября 1976 г.). Оттого эти «интерлюдии» можно было бы рассматривать и как «недостающую» пятую главу поэмы. Дело в том, что в «Последнем представлении Кемеровского цирка», поэме, имеющей четыре главы, во всех прочих отношениях довольно строго выдержан принцип пятёрничности. Каждая глава делится на пять разделов, каждый из которых (за редким исключением) состоит из пяти строф.

Но, с другой стороны, «интерлюдии» соотносимы и с поэмой «Я строил город». И тематически, и интонационно они без всяких натяжек могли бы быть составной частью и этого произведения. Таким образом, «интерлюдии», объединяющие начальную и заключительную части книги, — еще одно средство, цементирую-

щее структурный каркас сборника в целом.

В критике уже отмечена такая особенность поэзии Г. Юрова, как ее автобиографизм. Все, им написанное (включая и прозу), написано от первого лица, но в поэме «Я строил город» функция лирического «я» несколько необычная.

Я вскинул руку —

Распахнулась даль.

И я зажег через ночные воды

Огни — чтоб обозначить магистраль,

Огни проспектов и огни заводов...

Это говорит уже не тот конкретный герой, чью биографию можно по крупницам извлечь из стихов Г. Юрова, начиная с «Синего факела», не лирический герой с определенным возрастом (Твоим стволам столетним оставляю // По тридцать восемь годовых колец) и определенной внешностью (...С глазами карими, как свежий срез коры). Здесь лирическое «я» поэта синонимично человеку труда вообще и титанизмом своим приближается к «Человеку» Э. Межелайтиса.

Титаническое видение, взгляд сверху вниз и вдаль — не столь уж редкое явление в поэзии Геннадия Юрова. Такая перспектива применялась и в «Борискином ключе», и в «Альма матер» и на этом же эффекте, в частности, построена вся «Песня о бумажном змее»:

Возносится змеей мой
Дорогой былинной
Над малой удачей и участью горькой,
Над Томью-рекою,
Над Красною Горкой,
Над юным истоком и устьем в седицах.
Над милой Сибирью,
Уралом и Волгой,
Над белой Чукоткой
И над Украиной...

Это как с любовью к Родине: любишь сначала свой дом, берег реки, где прошло детство, затем город и край, где течет эта река, а затем всю страну. Именно так последовательно ответит небу на вопрос: «Ты откуда?» земляк и ровесник поэта Владимир Мартеньянов:

— Я из детства!..

— Из Кузбасса!..

— Из Страны Советов!..

(«Последнее представление Кемеровского цирка»).

Для лирического героя поэм Г. Юрова понятие «Родина» наполнено неповторимо кон-

кретным содержанием. Вся необъятная страна Россия воспринимается сердцем человека, корни которого — в родной кузбасской земле, в родной природе Притомья. И здесь, помимо автобиографизма и гражданственности, явно проступает третья грань его лирического «я» — нерасторжимое единство героя с природой, растворение в ней. Он — сама природа:

Речного рода, племени речного,
Я сын реки,
Я сын боров сосновых.
Звенят на Красной Горке родники,
Во мне живут березовые колки,
Полыни горечь и целебность смолки,
Боярышник цветет.
Я сын реки.

И если в этих словах еще можно — при сильном желании — отыскать нечто от декларативности, от поэтической красоты, то есть у Геннадия Юрова строчки пронзительно искренние, хватающие за душу своей тревогой и болью. Эта боль выплеснулась из его журналистики и стала достоянием поэзии. Глобальные проблемы своего времени поэт решает тем, что стремится искоренить конкретные беды своего края. Хочешь исправить мир — подмети сперва у своего порога!

— Я зов к людскому разуму и воле.
Я боль реки и врачеватель боли,
Тоска реки и жертва той тоски.
Я облечен доверием высоким
Увидеть устье чистым и глубоким.
Тогда отпустит боль.
Я сын реки.

Энергия коротких юровских строчек зиждется на призывных, повелительных, вопросительных интонациях. В ткани его стиха сталкивается лексика самых разных пластов: разговорная, публицистика, науки. Нередко в его поэтическую речь входят местные реалии, скрытая цитата, крылатое слово, фрагмент диалога, императив.

Последняя книга поэта — свидетельство его большой требовательности к себе и тщательной работы над стихом. Выше уже упоминалась публикация в газете «Кузбасс» нескольких отрывков из раннего варианта поэмы «Последнее представление Кемеровского цирка». Любопытно сравнить эти отрывки с соответ-

ствующими местами из поэмы в ее окончательном виде.

В первоначальном, газетном, тексте есть строки, обращенные к родному городу:

Но в годы,
Когда ты зажегся,
Звучало на все времена:
Не будет кузбасского кокса —
Не станет стальной страна!

Поэт отвергает этот вариант, так как строке «Звучало на все времена» двукратно мешали предыдущие стихи. Мешало, во-первых, противоречие конкретного (определенные «годы») и универсального («на все времена») и, во-вторых, мешал глагол «зажегся». Город не может просто «зажечься», он может «зажечься» идеей, энтузиазмом и т. п. Зажечься может огонь, но образ: город-огонь в газетном отрывке не оправдан контекстуально. В окончательном варианте эти стихи хорошо известны кузбассовцам:

Но ты от судьбы
Не отрекся,
Которая так решена:
Не будет кузбасского кокса —
Не станет стальной страна!»

Вычеркнуты из последнего варианта отдающие риторикой и необязательностью стихи, в которых появляется слишком сложный для восприятия образ города-птицы:

Подняв заводские пролеты,
В пространство
Послав поезда,
Мой город большого полета
Вовек не забудет
Гнезда.

Вместо них встали исполненные внутренней энергии строки:

Крепился бетоном
И сталью
Фундамент грядущих красот.
И улицы в землю вращали,
Чтоб рядом
Поднялся завод.

И еще пример из газетной публикации 1976 года. Речь в нем идет о красоте:

...В глубины реки заглянула
И, чтобы беды не навлечь,
Понятию «берег» вернула
Значение слово «беречь».

Образ красоты, заглядывающей в реку и во избежание беды возвращающей слову его былое значение,—образ многократно расплывчатый и абстрактный. В «Песне о городе» соответствующие строки помещены в иной контекст. Речь в них не о красоте, а о родине. В новых стихах зазвучат и сыновняя любовь к своему «месторождению», и сибирский простор, и ненавязчивая мудрость природы:

Здесь знал я волю в полной мере.
И сосен медленная речь
Мне объясняла
Слово «берег»
Святым деянием —
«Беречь».

Так выкристаллизовалось, наконец, объяснение слову, столь важного для поэтического лексикона Юрова.

Примеры работы поэта над стихом можно множить, но проиллюстрируют они одно: везде эта работа идет по пути освобождения от абстракций, от условной красоты, в пользу конкретной поэтической выразительности.

Поэзия Геннадия Юрова, написанная от первого лица, гражданственна по своему характеру, она проникнута подлинным пафосом, идет ли речь о судьбе родного края, реки Томь или о городском пожаре, который, что ни говори,—бытовое бедствие. И увидев в пожаре обветшавшего цирка героический итог героического времени, воспеть эти освещенные пламенем годы (И если б цирк не загорелся, // То я б хотел его зажечь!) мог только мастер.

Поэт достиг расцвета творческих сил. Свидетельством тому после «Берегов» и «Альма матер» стала его последняя книга поэм. Это не пик в творческой судьбе поэта, но еще один этап на его неуклонном пути к совер-

шенству. И если Геннадий Юров захочет остаться и дальше в пределах тематики своего родного края, то его ждет многообразие тем, еще не освоенных им в поэзии. Отчасти такое возможное направление уже заявлено поэтом. Еще в своем первом сборнике Юров рассказывал в небольшом стихотворении о томском поэте, ныне покойном, Вадиме Иванове, человеке из племени корчагиных. К его судьбе поэт вернется вновь в «Альма матер», где расскажет, кроме того, о замечательных людях, профессорах Томского университета Тарасове и Бабушкине. Русские первопроходцы Бориска и Михайла Волков, прославленный летчик-испытатель Владимир Мартемьянов—все это герои Юрова. Персонажами его будущих поэм могут стать подвижники науки, энтузиасты борьбы за природу, гидростроители, санитарные врачи, охотники, уже ставшие героями его очерков, другие люди, встреченные поэтом на богатой талантами и характерами земле кузнецкой.

Поэт драматического звучания Г. Юров сказал о себе тем не менее:

Я — Дон-Кихот счастливого конца
Для ситуаций вовсе безнадежных.

Борьба Г. Юрова за сохранение родной реки и кузбасской природы — ситуация, разумеется, вовсе не безнадежная и уж давно не донкихотство. Свидетельством тому его журналистские поиски. Верится, что мы прочтем новые поэмы Юрова. И пусть бы одна из них называлась «Берега Гармонии» или как-нибудь иначе — важно, чтобы название звучало победным кличем! Паруса мечты несут к океану, от кристальных истоков к устью, которое не может не быть «чистым и глубоким». Попутного им ветра!

Веселая минутка

Анатолий Паршинцев

ЛЕСНАЯ ТРАГЕДИЯ

Пришел Заяц к Ежу в дом. Еж сидел на лавке и туда-сюда метал швейную иглу. Она прямо-таки летала в его лапах.

Заяц поздоровался, но Еж не ответил. Гость постоял, подивился мастерству Ежа-портняжки. Уж больно спорилась у него работа!

Но, присмотревшись, Заяц вдруг завопил: — Куда ты рукав прилаживаешь? Зашился совсем?

— Ш-ш-ш,— зашипел Еж.—Проваливай. На той неделе заходи.

Пришив рукав, Еж швырнул изделие в кучу и схватил следующее.

Заяц постоял, подивился, и так как Ежу действительно было не до посетителей, постеснялся спросить, как обстоит дело с его новой шубкой. Ушел.

Пришел через неделю.

Еж сидел за столом. Перед ним — четверть березового сока на муравьином спирту. На красочной этикетке львиная пасть и надпись: «Трынтрава, 5 листиков».

— Садись, дружище, — пригласил Еж, напояв рюмки.

На широкой лавке, в закутке, Заяц приметил корзину яиц и дюжину нераспечатанных четвертей.

— На премиальные, — перехватив взгляд приятеля, пояснил Еж. — Разбогател теперь. Яблок на всю зиму закупил.

— За что премия? — поинтересовался Заяц. — Год-то не кончился.

— Это за другое, — махнул лапой Еж. — Это за ценную инициативу. — Присаживайся поближе.

Заяц выпил рюмку «Трынтравы». Поболтал полчаса о том о сем, потом Заяц напомнил:

— Как моя шубенция? Не готова?

Еж сполз с лавки, порывлся в куче кроя, вынул зайцеву шубку, долго рассматривал, так и сяк примеривал, протянул задумчиво:

— Да-а, напорол я чепухи. Что к чему — не пойму.

Заяц при виде своей «шубенции» закатил глаза и рухнул на пол.

Еж разжал ему портняжными ножницами зубы, влил порцию «Трынтравы».

— Значит, т-тебебебе премия за... за это самое? — промямлил Заяц, указывая на кучу бракованной одежды.

— Нет. Премия мне за ценную инициативу. Помнишь, в «Лесной газете» Крот писал: «Ценная инициатива Ежа! Доброе начинание! Следуйте примеру!» и прочее в таком духе?

— Я не читаю газет, — сказал Заяц.

— Суть-то в том, — стал пояснять Еж, — что я лучший портняжка на сто верст окрест. И вот Крот приходит ко мне и говорит: «Не гремит твое имя по полям и весям. А надо, чтоб гремело. Ты заслуживаешь этого. А кроме того, ты должен повести за собой всех портняжек».

«Пусть идут за мной», — сказал я.

«Как же они пойдут, если ты, кроме как мастерством, ничем больше не знаменит? Тебе нужно выступить с ценной инициативой».

«Я и так хорошо работаю. Всю душу отдаю».

«Мало этого. Надо, чтобы ты еще лучше работал».

«Но я, наверно, не смогу».

«Сможешь. Сложности большой нет. Пиши: «Я, портняжка Еж, с такого-то и по такое-то число обязуюсь сшить столько-то одежек и тем самым перекрыть задание в пять раз. Обращаюсь ко всем портняжкам: поддержите мою ценную инициативу!»

«Вот и все», — сказал Крот.

«Но... но это невозможно!»

«Не в том дело: возможно или невозможно. Суть-то вся в чем? В инициативе, уважаемый Еж».

— В общем, вот так все было. Не мог же я опозориться. Уложился в срок. Завтра в

«Леснушке» репортаж читай и статью мою. Опытом делюсь.

— А...а... проверка была?— выдавил Заяц.

— А как же. Комиссия, корреспонденты. Полный цех.

— И... все нормально?

— Да, все нормально. Инициатива одобрена, высокопроизводительный труд тоже.

Заяц опять закатил глаза, готовясь упасть, но Еж поспешно закричал:

— Стой! Стой! Я же не все объяснил. Мне дали время на ликвидацию брака. Много времени. Я уже засел за порку. Твою шубку первой положу. Вот сюда. Через пару неделек шикарную одежду получишь.

— На улице зима, а шубы нет,— загрустил Заяц.— Ты всегда так быстро выполнял заказы.

— Если б не ценная инициатива, я бы давно сшил. И тебе и другим,— извиняюще произнес Еж.— Перешью заново, там опять, наверно, с инициативой выступлю,— голос у портняжки дрогнул.— Сам понимаешь, надо же кому-то других зажигать.

Заяц заглотил прямо из «горла» добрую порцию «Трынтравы» и ушел покачиваясь. Далеко видна была его серая, шубка на белом покрывале зимы.

А вскоре на тропинке, ведущей к заячьему домику, раздался гулкий выстрел охотника...

НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ

Вадим Назаров

А солнце шурилось лубочно
Над лугом и мальчонкой над.
И было все в природе точно,
Как сто и двести лет назад.

Юрий Могутиев

ЧЕГО ДЛЯ?

Светило солнце лугом над,
Хотел нырнуть я воду под,
Как сто и двести лет назад,
Но кто-то страшный там плывет.

Вдруг водяной воды из-под
Меня схватил средь бела дня
И прорычал, скрививши рот:
— Чего стихи ты пишешь для?

г. НОВОКУЗНЕЦК

Наши авторы

Филаткина Людмила Петровна. Родилась в г. Кемерове. Окончила Уральский государственный университет. Работает в районной газете «Заря». Публиковалась в «Огнях Кузбасса». Живет в Кемерове.

Колмогоров Николай Иванович. Родился в 1948 году в Кемерове. Автор сборника стихов «На земле светло». Живет в Кемерове.

Дубро Екатерина Владимировна. Родилась в п. Тяжин Кемеровской области. Лауреат премии «Молодость Кузбасса». Автор сборников рассказов «Вернусь звездопадом» и «Медленные часы». Живет в Юрге.

Ибрагимов Александр Гумирович. Родился в 1947 году в д. Спиченково Кемеровской области. Окончил Кемеровский государственный университет. Автор сборника стихов «Буквы одуванчика». Живет в Кемерове.

Моренис Юрий Генрихович. Родился в 1947 году во Львове. Артист Кемеровской государственной филармонии. Его рассказы печатались в газетах, в альманахе «Енисей» и в журнале «Смена». В «Огнях Кузбасса» публикуется впервые.

Небогатов Михаил Александрович. Родился в 1921 году в г. Гурьевске Кемеровской области. Участник Великой Отечественной войны. Автор многих поэтических книг, последние из которых: «Свет в окне», «Спасибо сентябрю», «Земной поклон». Член Союза писателей. Живет в Кемерове.

Родионов Александр Михайлович. Родился в 1945 году на Алтае. Автор двух сборников стихов. Живет в Барнауле.

Бакалов Анатолий Сергеевич. Родился в 1941 году в селе Соприно Воронежской области. Преподаватель Кемеровского государственного университета. В «Огнях Кузбасса» публикуется впервые.

Ворошилов Петр Семенович. Родился в 1926 году в Прокопьевске. Окончил ВПШ. Работает собственным корреспондентом газеты «Известия» по Кемеровской области. Автор книг: «Всходы», «Герцог подает в отставку», «Встречи с деловым человеком», «Знаменщик полка». Живет в Кемерове.

Сибикин Валерий Дмитриевич. Родился в 1942 году в селе Поповка Тамбовской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Работает в школе учителем трудового обучения. Публиковался в газетах и в альманахе «Огни Кузбасса». Живет в Мысках.

50 к.

**КЕМЕРОВСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
постоянно работает
с молодыми авторами.
В 1980 и 1981 годах
выйдут из печати
первые книги молодых поэтов
и прозаиков Кузбасса:**

- В. Иванов.** БЕСЕДУЮ С ТОБОЙ. Стихи.
Н. Пискаев. ДЕРЕВЕНСКОЕ УТРО. Стихи.
Л. Скорик. ШЛИ ДОЖДИ. Рассказы.
В. Креков. ЛИЦО ТВОЕ. Стихи.
В. Поташов. ПО НЕБУ ПТИЧЬЯ КЛИНОПИСЬ. Стихи.
А. Паршинцев. СИМПОЗИУМ. Юмористические рассказы.
В. Моисеев. ЯРЫГИН КАМЕНЬ. Повесть. Рассказы.

КЕМЕРОВО, 1980